

Римская жизнь во времена Цицерона

Альфред Джон Черч

Roman life in the days of Cicero

Alfred John Church



Project Gutenberg

Электронная книга проекта Гутенберга о римской жизни во времена Цицерона

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Римская жизнь во времена Цицерона

Автор: Альфред Джон Черч

Дата выхода: 16 сентября 2004 г. [Электронная книга № 13481]

Последнее обновление: 28 октября 2024 г.

Язык: Английский

Титры: Продюсерами выступили Тед Гарвин, Грэм Макрет и команда онлайн-корректоров

*** ЗАПУСК ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "РИМСКАЯ ЖИЗНЬ Во ВРЕМЕНА ЦИЦЕРОНА" ***

Римская жизнь в

"Дни Цицерона"

Преподобный Альфред Дж. ЧЕРЧ, магистр медицины.

Автор "Рассказов Гомера"

С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

НЬЮ-ЙОРК

ОКТАВИУСУ ОГЛУ В ПАМЯТЬ О ДАВНЕЙ ДРУЖБЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ ЭТА КНИГА.

Содержание.

ГЛАВА

I. РИМСКИЙ МАЛЬЧИК

II. РИМСКИЙ СТУДЕНТ-СТАРШЕКУРСНИК

III. ВО ВРЕМЕНА ДИКТАТОРА

IV. РИМСКИЙ МАГИСТРАТ

Против ВЕЛИКОГО ДЕЛА РИМА

VI. СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

VII. ВЕЛИКИЙ ЗАГОВОР

VIII. ЦЕЗАРЬ

IX. ПОМПЕЙ

X. ИЗГНАНИЕ

XI. ДРАКА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

XII. КАТОН, БРУТ И ПОРЦИЯ

XIII. ГУБЕРНАТОР В СВОЕЙ ПРОВИНЦИИ

XIV. АТТИКУС

XV. АНТОНИЙ И АВГУСТ

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Эта книга не претендует на то, чтобы быть жизнеописанием Цицерона или историей последних дней Римской республики. Еще меньше она претендует на сравнение с таким произведением, как "Галл" Беккера, в котором на тонкой нити повествования подвешено огромное количество фактов, относящихся к общественной жизни римлян. Я попытался сгруппировать вокруг центральной фигуры Цицерона различные очерки людей и нравов и таким образом дать моим читателям некоторое представление о том, какой на самом деле была жизнь в Риме и римских провинциях в течение первых шести десятилетий — если говорить грубо — первого века до н.э. Я говорю о Цицероне как о "центральной фигуре" не потому, что считаю его самым важным человеком того времени, а потому, что именно от него, из его речей и писем, мы в основном черпаем информацию, которой я здесь воспользовался. Отсюда следует, что я привожу на самом деле не жизнеописание великого оратора, а очерк его личности и карьеры. Я был вынужден также вторгнуться в область истории: говоря о Цицероне, я был вынужден также упомянуть о Цезаре и Помпее, о Катоне и Антонии и дать рассказ, который я постарался сделать как можно более кратким, об их военных достижениях и политической деятельности. Я должен извиниться за то, что, по-видимому, высказываюсь догматично по некоторым вопросам, которые вызывали много споров. Было бы явно несовместимо с характером книги приводить противоположные аргументы; и моим единственным выходом было просто изложить выводы, которые я сделал все возможное, чтобы сделать правильными.

Я должен признать свои обязательства перед "*Личным пространством Ромера*" Марквардта, "*Университетской жизнью в древних Афинах*" мистера Кейпса и "*Избранными письмами*"

Цицерона" мистера Уотсона. Я также часто использовал "Жизнь Цицерона" мистера Энтони Троллопа, произведение, полное здравого смысла, хотя и на удивление скудное в научном плане"

Издатели и я надеемся, что иллюстрации, дающие, поскольку есть веские основания полагать, что они действительно отражают истинное сходство некоторых главных действующих лиц в описываемых сценах, вызовут особый интерес. Только когда мы возвращаемся к сравнительно недавним временам, мы обнаруживаем, что искусство снова оказывает ту же помощь пониманию истории.

Возможно, следует принести некоторые извинения за сохранение популярного названия одной из иллюстраций. Ученые, как мы полагаем, согласились с тем, что статуя, известная как "Умирающий гладиатор", вообще не представляет гладиатора. И все же, принимая во внимание знаменитое описание Байрона, казалось педантичным позволять ему появляться под каким-либо другим именем.

АЛЬФРЕД ЧЕРЧ.

ХЭДЛИ ГРИН 8 октября 1883 года.

РИМСКАЯ ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЕНА ЦИЦЕРОНА.

ГЛАВА I.

РИМСКИЙ МАЛЬЧИК.

Первым долгом римского отца по отношению к своему сыну, подняв его на руки в знак того, что он истинный сын своего дома, было назвать ему имя из скудного списка (всего семнадцать), которым ограничивался его выбор. Это наречение было произведено на восьмой день после рождения и сопровождалось некоторыми религиозными церемониями и пиром, на который были приглашены родственники. С таким именем он был внесен в какой-то семейный или государственный реестр. Следующей заботой было защитить его от пагубного влияния сглаза, повесив ему на шею позолоченную буллу, круглую металлическую пластину. (Булла была из кожи, если он не был благородного происхождения.) Он носил ее, пока не стал мужчиной. Затем он отложил его в сторону, возможно, для того, чтобы надеть его еще раз, если достигнет высшей чести, к которой мог стремиться римлянин, и был с триумфом влеком вверх по склону Капитолия. За ним ухаживала его мать или, во всяком случае, свободнорожденная женщина. Именно его мать несла исключительную ответственность за него в течение первых семи лет его жизни и могла многое сказать о том, как устроилась его жизнь впоследствии. Ибо римские матери не были заперты, как их сестры в Греции, но играли немалую роль в делах — засвидетельствуйте истории или легенды (ибо для этой цели не имеет значения, являются ли они фактом или вымыслом) о сабинских женах, о Туллии, которая подстрекала своего мужа захватить трон, или о Ветурии, которая отвратила своего сына Кориолана от его намерения осадить Рим. В семь лет началось образование, которое должно было сделать из него гражданина и солдата. Плавание, верховая езда, метание копья развили его силу тела. В то же время он научился быть бережливым, умеренным в еде и питье, скромным и благопристойным в поведении, почтительным к старшим, послушным властям дома и за границей и, прежде всего, благочестивым по отношению к богам. Если в обязанности отца входило быть священником в каком-нибудь храме государства (поскольку священники не были отдельным классом от своих

сограждан) или проводить богослужение в какой-нибудь семейной часовне, юноша должен был действовать как *камилл* или послушник. Когда клиенты, иждивенцы заведения, толпой входили в холл ранним утром, чтобы засвидетельствовать свое почтение своему патрону или попросить у него совета и помощи в своих делах, юноша вставал рядом с креслом своего отца и знакомился со своими скромными друзьями. Когда зал распахивался и устраивался большой праздник, он присутствовал и слушал разговоры об общественных делах или о прошлых временах. Он слушал песни, прославлявшие великих героев, а иногда и принимал в них участие. Когда тело какого-нибудь знаменитого солдата или государственного деятеля выносили за стены, чтобы похоронить или сжечь, его отводили послушать речь, произносимую над гробом.

Одно время, если мы можем верить причудливой истории, рассказанной нам одним из римских писателей, у сенаторов был обычай представлять своих юных сыновей на заседаниях своего собрания, во многом аналогично тому, как мальчики Вестминстерской школы допускаются к слушаниям в палатах парламента. История претендует на то, чтобы показать, как случилось, что одна из семей рода Папириев стала носить имя *Претекстат*, то есть одетая в *претексту* (одевание отрочества), и она гласит так: "На заре Римского государства было принято, чтобы сенаторы приводили своих юных сыновей в Сенат до конца, чтобы они могли в ранние годы узнать, как управляются великие дела содружества. И чтобы городу не причинили никакого вреда, мальчикам было строго-настрого предписано ничего не говорить о том, что они слышали в Доме. Это случилось в один из дней, когда Сенат после долгих дебатов по определенному вопросу перенес рассмотрение дела на завтра. Вслед за этим сын некоего сенатора по имени Папирий был сильно домогался своей матери, чтобы она рассказала о деле, которое так болезненно обсуждалось. И когда юноша, вспомнив о возложенном на него повелении хранить молчание о подобных вещах, отказался рассказать об этом, женщина умоляла его говорить более настойчиво, пока, наконец, устав от ее настойчивости, он не придумал это. "Сенат, - сказал он, - обсуждал, нельзя ли сделать что-нибудь, чтобы в семьях было больше гармонии, чем сейчас; и следует ли, если будет сочтено целесообразным внести какие-либо изменения, предписать, чтобы у мужа было много жен, или у жены должно быть больше мужей, чем один". Тогда женщина, будучи сильно встревожена услышанным, поспешила ко всем своим знакомым матронам и убедила их не допускать ничего подобного. Таким образом, было так, что Сенат, собравшийся на следующий день, был безмерно удивлен, увидев великое множество женщин, собравшихся у дверей, которые умоляли их не вносить никаких изменений; или, если таковые имели место, то уж точно не допускать, чтобы у мужчины было больше одной жены. Затем юный Папирий рассказал историю о том, как его мать расспрашивала его и как он придумал эту историю, чтобы избавиться от ее назойливости. Вслед за этим Сенат, рассудив, что не все мальчики могут обладать одинаковым постоянством и смекалкой и что государству может быть нанесен ущерб от раскрытия вещей, которые лучше держать в секрете, издал этот закон, по которому с тех пор ни один сын сенатора не должен входить в Дом, за исключением только этого юного Папирия, но что он должен иметь право приходить, пока на нем *претекста*".

Пока шло это общее образование, мальчик получал определенное обучение. Конечно, он научился читать, писать и считать. Старший Катон имел обыкновение писать крупными буквами в пользу своих сыновей отрывки из истории, вероятно, сочиненные им самим или его современником Фабием по прозвищу "Живописец" (автор хроники Италии от высадки Энея до конца Второй Пунической войны). Он испытывал искушение учиться с помощью игрушек, в которых изобретательно сочетались обучение и развлечение. Буквы из слоновой кости —

вероятно, в прежние времена использовался менее дорогой материал — были вложены ему в руки точно так же, как сейчас их вкладывают в руки детей, чтобы он мог научиться составлять слова. Как только он научился читать, он начал учить наизусть. "Когда мы были мальчиками, - рассказывает Цицерон своему брату Квинту в одном из своих диалогов, - мы обычно заучивали "Двенадцать таблиц". "Двенадцать таблиц" были законами, которые Аппий с дурной славой и его коллеги децемвиры составили в виде кодекса. "Никто, - продолжает он, - сейчас их не изучает". Книги стали гораздо более распространенным явлением за те сорок лет, которые прошли между детством Цицерона и временем, когда он, как предполагается, выступал; и скучные уроки его юности уступили место чему-то более разнообразному и интересному.

Письму мальчик научился, следуя с помощью ручки (заостренного *стилуса* из металла) формам букв, которые были выгравированы на деревянных табличках. Сначала учитель держал его за руку и направлял. Опытные участники сочли, что это лучший план, чем позволять ему самому рисовать буквы на воощенной табличке. Конечно, пергамент и бумага были слишком дорогими материалами, чтобы использовать их для упражнений и копий. Поскольку книги были редкими и дорогостоящими, диктовка приобрела большое значение. Мальчик сам писал, по крайней мере частично, свои школьные учебники. Гораций с содроганием вспоминает, что он сам написал под диктовку своего школьного учителя, который привык добиваться хорошего письма и орфографии множеством ударов. Он так и не смог примириться с ранними поэтами, чьи стихи послужили основой для этих уроков.

Наш римский мальчик, должно быть, находил арифметику более трудным занятием, чем используемые сейчас цифры (за что мы не можем быть слишком благодарны арабам, их изобретателям). Трудно представить, как что-либо вроде длинной суммы при умножении или делении можно было сделать с помощью римских цифр, настолько громоздкими они были. Например, число, которое мы представляем цифрами 89, потребовало бы для своего выражения не менее *девяти* цифр, LXXXVIII. Мальчику помогали пальцами, причем левая рука использовалась для обозначения цифр ниже сотни, а правая - над ней. Иногда у его учителя была счетная доска, на которой единицы, десятки и сотни были представлены разноцветными шариками. Вычисления, которые он выполнял, были в основном практического характера. Вот пример урока арифметики, который приводит Гораций. "Римских мальчиков учат делить пенни путем долгих вычислений. "Если от пяти унций отнять единицу, чему будет остаток?" Вы можете сразу же ответить: "Треть пенни". - Хорошо, вы сможете позаботиться о своих деньгах. Если добавить унцию, что получится?" - "Половина пенни".

Приобретая эти знания, он также изучал язык, единственный язык, помимо своего собственного, который римлянину стоило знать, — греческий. Вполне возможно, что он начал усваивать это в детстве, где можно было найти греческую рабыню, точно так же, как французская *bonne* или немецкая няня-гувернантка есть в наших более богатых семьях. Он, конечно, начал приобретать его, когда достиг возраста, в котором началось его регулярное образование. Катон Старший, хотя и взял за правило обучать своих собственных сыновей, тем не менее имел раба-грека, который был способен выполнять эту работу и который действительно обучал, к выгоде своего очень бережливого хозяина, сыновей других знатных людей. Эмилий, завоеватель Македонии, который был на несколько лет моложе Катона, имел наставником известного грека. Готовясь к триумфальному шествию, он послал в Афины за сценографом, как мы должны были бы назвать его, который мог бы нарисовать изображения завоеванных городов, иллюстрирующие его победы. Он внес в комиссию условие о том, что

художник также должен быть квалифицирован для того, чтобы занять место репетитора. По счастливой случайности у афинян оказался в запасе, так сказать, именно тот человек, который им был нужен, некто Метродор. У Цицерона в семье был учитель греческого, но не ради сына, который родился позже, а для его же блага. Это был некто Диодот, философ-стоик. Цицерон был его учеником в детстве и приютил его до самой смерти: "Я многому у него научился, особенно логике". В старости он потерял зрение. "И все же, - говорит его ученик, - он посвятил себя учебе еще усерднее, чем прежде; ему читали книги день и ночь. Это были занятия, которыми он мог заниматься и без глаз; но он также, и это кажется почти невероятным, преподавал геометрию без них, объясняя своим ученикам, откуда и куда должна быть проведена линия и какого она должна быть вида." Интересно знать, что, когда старик умер, он оставил своему благодетелю около девяти тысяч фунтов.

Конечно, только богатые римляне могли пользоваться для своих сыновей услугами таких учителей, как Диодот; но в любом состоятельном доме был раб, более или менее знакомый с греческим. Во времена Цицерона за столетие с лишним завоеваний Рима над греками и грекоязычными общинами в итальянских семьях появилось огромное количество рабов, знавших греческий язык и кое-что, часто немалое, из греческой литературы. Одного из них, вероятно, выделили бы в качестве сопровождающего мальчика; у него он научился бы говорить и читать на языке, знание которого было по меньшей мере таким же распространенным явлением в Риме, как знание французского среди английских джентльменов.

Если бы римский мальчик, о котором мы говорим, принадлежал к очень богатой и знатной семье, он, вероятно, получил бы образование дома. Обычно он ходил бы в школу. Во времена нечестивого Аппия Клавдия в Риме были школы, как для девочек, так и для мальчиков. Школьный учитель появляется среди этрусков в "Истории о Камилле", когда предатель, предлагающий выдать римскому военачальнику сыновей главного гражданина Фалерий, по его приказу был изгнан обратно в город его учениками. Мы снова находим его в той же истории в латинском городе Тускулум, где упоминается как один из признаков глубокого мирного времени (Камилл поспешно выступил против города из-за ложного сообщения о его восстании), что на рыночной площади был слышен гул ученых на их уроках. В Риме с течением времени, когда Форум становился все более оживленным и шумным, школы были перенесены в более подходящие места. Их оборудование для обучения было усовершенствовано и увеличено. Возможно, были добавлены карты, и уж точно книги для чтения. Читали Гомера и, как мы видели, древнелатинских драматургов, а затем и Вергилия. Гораций угрожает книге, которая умышленно настаивает на выходе в мир, такой судьбой, что старость застанет ее в далеком пригороде, где она будет учить мальчиков грамоте. Спустя несколько сотен лет пророчество исполнилось. Ювенал рассказывает нам, как школьники стояли с лампой в одной руке и изрядно замусоленным Горацием или закопченным Вергилием в другой. Квинтилиан, писавший примерно в то же время, вдаётся в подробности, как и подобает старому школьному учителю. "Это замечательная практика, что чтение мальчиком должно начинаться с Гомера и Вергилия. Трагические писатели также полезны; и много пользы можно извлечь и из лирических поэтов. Но здесь вы должны сделать отбор не только авторов, но и части авторов." Любопытно обнаружить, что он полностью изгнал книгу, которая используется или, несомненно, использовалась в наших школах более широко, чем любая другая классика, - "Героиды Овидия".

Значит, это и подобные этому книги, которые должен был бы прочитать наш римский мальчик. Сочинение не будет забыто. "Пусть он возьмет, - говорит только что процитированный автор, - басни Эзопа и расскажет их простым языком, никогда не поднимаясь выше обычного уровня. Затем позвольте ему перейти к менее простому стилю; затем, снова, к более смелым пересказам, иногда сокращая, иногда усиливая оригинал, но всегда следуя своему смыслу". Он также предлагает написать темы и персонажей. Один из примеров, который он приводит, таков: "Был ли прав философ Крейтс, когда, встретив невежественного мальчика, он избил своего учителя?" Многие сюжеты из этих тем были сохранены. Ганнибал, естественно, был одним из тех, кого часто выбирали. Часто обсуждался его переход через Альпы и вопрос, следовало ли ему наступать на городсразу после битвы при Каннах. Цицерон упоминает тему спекулятивного характера. "Посторонним запрещено взбираться на стену. А. взбирается на стену, но только для того, чтобы помочь горожанам отразить нападение их врагов. А. нарушил закон?"

Чтобы сделать эти занятия более интересными для римского мальчика, его школьный учитель призвал на помощь подражание. "Я уверен, - говорит Квинтилиан, - что практика, которую, как я помню, применяли мои собственные учителя, была какой угодно, но только не бесполезной. Они привыкли делить мальчиков на классы и заставляли нас говорить в порядке наших способностей; каждый выступал по очереди в соответствии со своим мастерством. Наши выступления были должным образом оценены; и невероятной была борьба, которую мы вели за победу. Быть главой своего класса считалось самым славным делом, которое только можно себе представить. Но решение не было принято раз и навсегда. Следующий месяц предоставил побежденным возможность возобновить соревнование. Тот, кто одержал победу в первом столкновении, не был вынужден из-за успеха ослабить свои усилия, и чувство досады побуждало побежденного покончить с позором поражения. Я уверен, что эта практика послужила более сильным стимулом к обучению, чем все увещевания наших учителей, забота наших наставников и пожелания наших родителей". Школьный учитель также не полагался только на подражание. Широко использовался третий вариант знаменитой винчестерской поговорки: "Или учись, или уходи: есть еще один выбор — быть выпоротым". Гораций прославляет своего старого школьного учителя как "человека со многими ударами", а другой выдающийся ученик этого учителя, Басби или Кит древности, описал оружие, которым он пользовался, - ферулу и ремень. Тхонг - это знакомое название школ к северу от границы. Ферула - это название, данное как бамбуку, так и желтому тростнику, которые в изобилии росли как на островах Греческого архипелага, так и в Южной Италии, в частности, в Каннах в Апулии, где они дали название месту великой битвы. Также использовалась *virga* - прут, обычно из березы, дерево, образовательное применение которого уже было обнаружено. Стены Помпей действительно показывают, что практика Итона поистине классична вплоть до деталей.

Относительно преимуществ такой практики мнения разделились. Один восторженный защитник заходит так далеко, что утверждает, что греческое слово, обозначающее трость, по происхождению означает "точилка молодежи" (*притвор, рядом с теджином*), но лучшие авторитеты были против этого. Сенека возмущен дикарем, который "растерзает" молодого ученика за то, что тот запинаясь на слове — действительно, простительная ошибка, можно подумать, когда мы вспоминаем, в чем, должно быть, заключался аспект римской книги, написанной заглавными буквами, почти без остановок и практически без различия между словами. И Квинтилиан столь же решителен, хотя и допускает, что порка была "институтом".

Что касается каникул, то практика римских школ, вероятно, напоминала ту, которая преобладает в шотландских университетах, хотя и с менее пышной продолжительностью каникул. У каждого был выходной в "дни Сатурна" (праздник, начинающийся семнадцатого декабря), а у школьников был свой собственный праздник в "дни Минервы", которые приходились на вторую половину марта; но "длинные каникулы" были летом. Гораций говорит о мальчиках, несущих свои сборы в школу пятнадцатого числа в течение восьми месяцев в году (если такая интерпретация сомнительного отрывка верна). Возможно, поскольку это была сельская школа, каникулы были продлены дольше обычного, чтобы дать возможность ученикам принять участие в сборе урожая, который, включая сбор винограда, не закончится до поздней осени. Однако мы находим, что Марциал умолял школьного учителя помнить, что июльская жара не благоприятствовала обучению, и предлагал ему сложить с себя полномочия до пятнадцатого октября, когда наступит более удобный для учебы сезон. Рим действительно, вероятно, был покинут поздним летом и осенью более богатым классом, который, несомненно, был склонен согласиться с замечанием поэта, замечанию, которому самый праздный школьник простит латынь ради его замечательной сентиментальности:

"Aestate pueri si valent satis discunt." "Летом мальчики узнают достаточно, если сохраняют свое здоровье".

Возможно, кое-что можно сказать и об учителях, в руки которых были отданы римские мальчики. У нас есть небольшая книжечка, всего не более чем на двух десятках страниц, в которой рассказывается о "жизнеописаниях выдающихся школьных учителей" и из которой мы можем почерпнуть несколько фактов. Первым делом школьного учителя было преподавать грамматику, а грамматикой Рим был обязан, как и большей частью своих знаний, греку, некоему Кратесу, который, прибыв в качестве посла от одного из царей Малой Азии, сломал ногу, прогуливаясь по плохо вымощенным улицам Рима, и проводил досуг, читая лекции у себя дома. Большинство первых учителей были греками. Катулл купил греческого раба чуть более чем за полторы тысячи фунтов и, дав ему свободу, устроил его школьным учителем; другой представитель той же нации получал жалованье в размере от трехсот до четырехсот фунтов, его покровитель получал и, вероятно, получал значительную прибыль от платы за учеников. Орбий, человек ударов, вероятно, был греческого происхождения. Сначала он был бидлом, потом трубачом, потом в юности был рядовым и приехал в Рим в тот год, когда Цицерон был консулом. Похоже, он был так же строг к родителям своих учеников, как и в некотором роде к самим ребятам, поскольку написал книгу, в которой разоблачил их подлость и неблагодарность. Его неприятности, однако, не помешали ему дожить до почтенного возраста ста трех лет. Автор небольшой книги о школьных учителях видел его статую в своем родном городе. Это была мраморная фигура в сидячей позе, рядом с ней стояли два письменных стола. Любимыми авторами Орбия, который принадлежал к старомодной школе, были, как уже было сказано, ранние драматурги. Цецилий, молодой человек, которому Атик, друг и корреспондент Цицерона, предоставил свободу, читал лекции о Вергилии, с которым, поскольку он был близок с одним из соратников Вергилия, он, вероятно, был немного знаком. Некоему Флакку принадлежит заслуга первого изобретателя призов. Он обычно натравливал парней равного возраста друг на друга, предлагая не только тему для написания, но и приз победителю. Обычно это была какая-нибудь красивая или редкая старинная книга. Август назначил его наставником для своих внуков, назначив ему жалованье в восемьсот фунтов в год. Двадцать лет спустя модный школьный учитель, как говорят, заработал от трех до четырех тысяч.

Эти школьные учителя также иногда были учителями красноречия, читая лекции мужчинам. Среди них, например, упоминается некто Гнифо, который проводил свои занятия в доме Юлия Цезаря (Цезарь остался сиротой в пятнадцать лет), а впоследствии, когда его выдающийся ученик вырос, в своем собственном. Но Цицерон, когда он был претором и находился на самом пике своей славы, как говорят, посещал его лекции. В этом году он произнес самую прекрасную из своих неполитических речей в защиту Клуентиуса. Должно быть, он был очень умным учителем, у которого такой великий оратор надеялся чему-то научиться.

Эти учителя красноречия были теми, кого мы могли бы назвать "Профессорами" Рима. Парень обычно "заканчивал свое образование", когда надевал "мужскую мантию"; но если он думал о политической жизни, о том, чтобы стать государственным деятелем и занять пост в содружестве, ему еще многому предстояло научиться. Он должен был стать юристом и оратором. Юриспруденцию он выучил, пристроившись, став учеником, как мы бы сказали, какого-нибудь великого человека, который славился своими знаниями. Цицерон делится с нами своим собственным опытом: "Мой отец познакомил меня с авгуром Сцеволой; и результатом было то, что, насколько это было возможно и допустимо, я никогда не отходил от старика. Таким образом, я запомнил многие его ученые аргументы, многие краткие и умные сентенции, в то время как я стремился пополнить свои собственные знания из его специальных знаний. Когда Авгур умер, я перешел к понтифику с тем же именем и из той же семьи". В другом месте у нас есть фотография этого второго Сцеволы и его учеников. "Хотя он не брался давать наставления кому бы то ни было, тем не менее он практически учил тех, кто стремился слушать его, позволяя им слышать его ответы тем, кто советовался с ним". Эти консультации проходили либо на Форуме, либо в его собственном доме. На Форуме великий юрист указал, что клиенты могут свободно приближаться, проходя по открытому пространству из угла в угол. Вереница молодых римлян следовала за ним по пятам, подобно тому, как студенты следуют за врачом или хирургом по больничным палатам. Когда он давал аудиенцию дома, они стояли у его кресла. Следует помнить, что великий человек не брал платы ни с клиента, ни с ученика.

Но молодой римлянин должен был не только изучать право, он должен был также научиться говорить - научиться, насколько такому можно научиться, быть красноречивым. То, что мы в этой стране называем карьерой общественного деятеля, там называлось карьерой оратора. У нас во многом зависит от случая, умеет человек говорить или нет. У нас были государственные деятели, которые обладали всей властью, какой только может обладать один человек в этой стране, но не обладали никаким красноречием. У нас были и другие люди, которые обладали этим даром в высшей степени, но никогда не занимали даже одного из низших постов в правительстве. Иногда молодой политик обращается к профессиональному учителю, чтобы вылечиться от какого-нибудь дефекта или речевого обмана; но то, что такое обучение является частью необходимой подготовки государственного деятеля, является для нас довольно странной идеей. Римлянин воспринял это как нечто само собой разумеющееся. Конечно, как и другие вещи в Риме, это продвигалось вперед, но медленно. Незадолго до середины второго века до нашей эры Сенат постановил: "Поскольку были упомянуты определенные философы и риторы, пусть претор Помпоний позаботится о том, чтобы, по его мнению, для общественного блага и для его собственной чести, в Риме не нашлось ни одного такого". В начале первого века цензоры издали эдикт, запрещающий некоторым латинским риторам преподавать. Одним из таких цензоров был великий оратор Красс, величайший из всех предшественников Цицерона. Цицерон вкладывает в его уста извинения за этот поступок: "Мной не двигала никакая враждебность к учености или культуре. Эти латинские риторы были всего лишь

невежественными притворщиками, неэффективными подражателями своим греческим соперникам, у которых римская молодежь вряд ли могла научиться чему-либо, кроме дерзости". Однако, несмотря на цензоров и модное в Риме убеждение, что греческое должно быть намного лучше того, что произрастает на родине, учителя латыни пользовались все большей популярностью. "Я помню, - говорит Цицерон, - когда мы были мальчиками, некоего Луция Плотина, который первым начал преподавать красноречие на латыни; как, когда прилежная молодежь столицы толпилась, чтобы послушать его, я сильно досадовал, что мне не разрешили присутствовать при нем. Однако я был остановлен мнением ученых людей, которые считали, что в этом вопросе способности молодежи с большей пользой развиваются упражнениями в греческом". Нам вспоминается наш собственный доктор Джонсон, который заявил, что не опозорит стены Вестминстерского аббатства эпитафией на английском языке.

Основная часть инструкций, которые давали эти учителя, заключалась в том, чтобы предлагать своим ученикам для обсуждения воображаемые случаи, связанные с какими-либо юридическими трудностями. Можно привести один или два из этих случаев.

Однажды летом группа молодых людей из Рима отправилась на экскурсию в Остию и, спустившись к берегу моря, увидела там нескольких рыбаков, которые собирались закинуть сеть. С ними они заключили сделку, что получают напиток за определенную сумму. Деньги были выплачены. Когда сеть была вытащена, в ней не было рыбы, но была обнаружена корзина, прошитая золотой нитью. Покупатели утверждают, что это их добыча из сети. Рыбаки утверждают, что это не рыба. Кому она принадлежала?

Некие работоторговцы, выгрузив груз рабов в Брундизиуме и имея при себе очень красивого мальчика, имевшего большую ценность, опасаясь, как бы таможенные чиновники не наложили на него лапы, надели на него буллу и мантию с пурпурной каймой, которые обычно носили свободнорожденные юноши. Обман не был раскрыт. Но когда они приехали в Рим и об этом заговорили, все утверждали, что мальчик действительно был свободен, поскольку именно его хозяин по собственной воле дал ему знак свободы.

Я завершу эту главу очень красивой картиной, нарисованной римским поэтом о жизни, которую он вел со своим учителем в те дни, когда только начинал взрослеть. "Когда впервые мои робкие шаги утратили опеку пурпурной полосы, ибулла мальчика была повешена за принесение в жертву причудливым домашним богам; когда вокруг меня появились льстивые товарищи, и я мог без упрека окинуть взглядом всю оживленную улицу под прикрытием еще незапятнанного платья; в те дни, когда путь сомнителен, и странник, ничего не знающий о жизни, с растерянной душой выходит на многоразветвленные дороги — тогда я сделал себя вашим приемным ребенком. Ты сразу же принял в лоно другого Сократа мои нежные годы; твое правило, применяемое с искусной маскировкой, исправляет каждую порочную привычку; природа сформирована разумом и борется за то, чтобы быть покоренной, и принимает под твоими руками свои пластичные очертания. Да, я думаю о том, как бы я проводил с тобой долгие летние солнца и срывал с тебя цветение первых часов ночи. У нас была одна работа, одно определенное время для отдыха и за одним скромным столом, освобожденным от суровых мыслей".

Этой очаровательной картине соответствует рассказ о том, что ученик, умирая в юности, оставил свое имущество своему старому наставнику, а тот передал его родственникам покойного, оставив себе только книги.

ГЛАВА II.

Римский СТУДЕНТ-СТАРШЕКУРСНИК.

В предыдущей главе мы не имели в виду какого-то конкретного "римского мальчика", но нашим "римским старшекурсником" будет реальный человек, сын Цицерона. Будет интересно проследить упоминания о нем, которые мы находим в письмах и книгах его отца. "Ты будешь рад услышать, - пишет он в одном из своих первых писем Аттику, - что у меня родился маленький сын и что Теренция чувствует себя хорошо". Время от времени мы слышим о нем, и всегда о нем говорят с самой нежной привязанностью. Он его "медово-сладкий Цицерон", его "маленький философ". Когда отец находится в изгнании, имя сына указывается в адресе его писем вместе с именами его матери и сестры. Его перспективы являются предметом самых тревожных размышлений. Теренция, у которой было собственное значительное состояние, предлагает продать поместье. "Прошу вас, подумайте, - пишет он, - что с нами будет. Если нас и дальше будет преследовать то же несчастье, что будет с нашим несчастным мальчиком? Я не могу больше писать. Меня переполняют слезы; мне было бы жаль огорчать вас так же, как и себя. Я скажу так много. Если мои друзья выполнят свой долг передо мной, я не буду нуждаться в деньгах; если они этого не сделают, ваши средства меня не спасут. Я умоляю вас, ради всех наших бед, не губите бедного парня. На самом деле, он и так достаточно разорен. Если у него есть только то, что оберегает его от нужды, то скромные заслуги и умеренная удача дадут ему все, чего он хочет".

Назначенный в правительство Киликии, Цицерон берет своего сына с собой в провинцию. Когда он начинает свой поход против горных племен, мальчика и его двоюродного брата, юного Квинта, отправляют ко двору Дейотара, одного из местных князей Галатии. "Молодой Цицерон, - пишет он Аттику, - находится с Дейотаром. Если понадобится, их доставят на Родос". Следует упомянуть, что Атик приходился Квинту дядей и мог беспокоиться о нем. Вероятно, необходимость возникла в том, что старый принц сам пришел на помощь Цицерону. Он обещал это сделать, но кампания завершилась без него. Это было в 51 году до нашей эры, и Марку было почти четырнадцать лет, его двоюродный брат был старше его примерно на два года. "Они очень любят друг друга, - пишет Цицерон, - они учатся, они вместе развлекаются, но одному нужна уздечка, другому - шпора". (Несомненно, последний - сын писателя.) "Я очень люблю Дионисия, их учителя: ребята говорят, что он склонен к яростному гневу. Но более образованный и более безупречный человек там не живет". Примерно через год он, кажется, стал думать о нем менее благосклонно. "Я отпустил его неохотно, когда подумал о нем как о наставнике двух мальчиков, но вполне охотно, как о неблагодарном парне". В 49 году до н.э., когда юноше было около половины шестнадцатого года, Цицерон "подарил ему свою *тогу*". Принятие *тоги*, то есть замена одежды мальчика с пурпурной полосой на простую белую одежду гражданина, ознаменовало начало независимости (хотя на самом деле сын римлянина даже в зрелом возрасте находился под контролем своего отца). Церемония состоялась в Арпинуме, к большому удовольствию жителей, которые, конечно, испытывали величайшую гордость и интерес к своему знаменитому земляку. Но это было печальное время. "Там и повсюду, пока я путешествовал, я видел печаль и уныние. Перспектива этой огромной беды действительно печальна". "Огромной бедой" была гражданская война между Цезарем и Помпеем. Это действительно уже вспыхнуло. Пока Цицерон развлекал своих родственников и друзей в Арпинуме, Помпей готовился бежать из Италии. Вероятно, война не была абсолютным злом для парня, который только начинал считать себя мужчиной. Он поспешил пересечь

Адриатическое море, чтобы присоединиться к другу своего отца, и был назначен командовать эскадрой вспомогательной кавалерии. Его манера держаться в седле, его умение обращаться с копьем и его общие солдатские качества были высоко оценены как его начальником, так и его товарищами. После поражения при Фарсалии он ждал со своим отцом в Брундизии, пока доброе письмо от Цезаря не заверило его в помиловании. В 46 году до н.э. он был назначен эдилом в Арпине, одновременно с этим был назначен его двоюродный брат. В следующем году он с радостью возобновил бы свою военную карьеру. В Испании шли боевые действия, где сыновья Помпея держались против войск Цезаря; и молодой Цицерон, который, вероятно, не очень разбирался, на чьей стороне он обнажает свой меч, был готов пойти на службу против сына своего старого полководца. Отцу не нравились ни дело, ни карьера, и желание сына было отвергнуто, точно так же, как английскому юноше иногда приходится отказываться от не приносящей дохода профессии военного, когда есть средства к существованию в семье, или вакансии в банке, или многообещающие связи с адвокатской конторой. Было решено, что он переедет в Афины, которые тогда были Римским университетом, не совсем в том смысле, в каком Оксфорд и Кембридж являются университетами Англии, но все же местом либеральной культуры, где сыновья богатых римских семей привыкли завершать свое образование. Двадцать четыре года назад отец надолго приехал в город, отчасти ради учебы. "В те дни, - пишет он, - я был до некоторой степени истощен и слаб; моя шея была длинной и тонкой; привычки к телу и фигура, которые, как считается, указывают на большую опасность для жизни, если усугубляются тяжелой профессией и постоянным напряжением голоса. Мои друзья придавали этому большое значение, потому что в те дни я привык произносить все свои речи без малейшего ослабления усилий, без всякого разнообразия, во весь голос и с самой обильной жестикulyацией. Сначала, когда друзья и врачи посоветовали мне на некоторое время отказаться от адвокатской деятельности, я почувствовал, что скорее пойду на любой риск, чем откажусь от надежды добиться отличия в ораторском искусстве. Впоследствии я размышлял о том, что, научившись сдерживать и регулировать свой голос, а также изменив свой стиль речи, я мог бы как предотвратить опасность, угрожавшую моему здоровью, так и приобрести более сдержанные манеры. Именно решимость избавиться от сформировавшихся у меня привычек побудила меня отправиться на Восток. Я практиковал два года, и мое имя стало хорошо известно, когда я покинул Рим. Приехав в Афины, я провел шесть месяцев с Антиохом, самым выдающимся и образованным философом Старой Академии, более мудрого и знаменитого учителя, чем он, не было. В то же время я усердно упражнялся под присмотром Деметрия Сира, старого и не безразличного мастера красноречия". Итак, Цицерон всегда вспоминал Афины с любовью. Он слышит, например, что Аппий собирается построить портик в Элевсине. "Вы сочтете меня дураком, - пишет он Аттикусу, - если я сделаю то же самое в Академии? "Я так думаю", - скажете вы. Но я очень люблю Афины, само это место, и я был бы рад, если бы там был какой-нибудь памятник обо мне".

Новому студенту, как мы должны были бы его называть, полагалось щедрое пособие. "Он получит столько, сколько Публилий, сколько Лентул Фламин позволит своим сыновьям". Было бы интересно узнать сумму, но, к сожалению, ее невозможно вернуть. Все, что мы знаем, - это то, что у самых богатых молодых людей Рима не должно было быть большего. "Я гарантирую, - пишет этот либеральный отец, - что ни один из трех молодых людей (которых он называет по именам), которые, как я слышал, будут в Афинах в одно и то же время, не будет жить дороже, чем

он сможет прожить на эту ренту". Эта "арендная плата" поступала от определенной недвижимости в Риме. "Только, - добавляет он, - я не думаю, что ему понадобится лошадь".

Мы кое-что знаем об университетских зданиях, так сказать, которые молодой Цицерон нашел в Афинах. "Искать истину в Академических рощах" - фраза, которой более известный современник, поэт Гораций, описывает свою учебу в Афинах. Вероятно, он обычно использует его для выражения философских устремлений; в строгом смысле это означало бы, что он привязался к мудрецу, гордостью которого было быть преемником Платона. Академус был местным героем, связанным с легендой о Тесее и Елене. Недалеко от своей рощи, или священной ограды, примыкавшей к дороге в Элевсин, Платон разбил сад. Это было всего лишь маленькое местечко, купленное за сумму, которая, возможно, равнялась примерно трем или четырем сотням фунтов наших денег, но оно было увеличено благодаря щедрости сменявших друг друга благотворителей. Тогда это был один знаменитый лекционный зал. Другим был Лицей. Здесь преподавал Аристотель, а после Аристотеля - Теофраст, а после него - длинная череда мыслителей одной и той же школы. Третьим учреждением того же рода был сад, в котором Эпикур собирал своих учеников и который он завещал попечителям для их блага и блага их преемников на все времена.

Для римлянина более благородного происхождения эти сады и постройки, должно быть, были святыми местами. Именно с ними, а не с храмами богов, он связывал то, что было доброго и чистого в его жизни. Поклонение Юпитеру или Ромулу не делало его лучше, хотя это могло быть его необходимым гражданским долгом; его настоящей религией, как мы ее понимаем, было его благоговение перед Платоном или Зеноном. Афины для него были не только Афинами, но и тем, чем является Святая Земля для нас. Цицерон описывает нечто подобное в следующем отрывке: "Мы слушали Антиоха (преподавателя Академических наук) в школе под названием Птолемей, где он обычно читал лекции. Со мной был Марк Пизон, и мой брат Квинт, и Аттик, и Луций Цицерон, по родству двоюродный брат, по привязанности брат. Мы договорились между собой завершить нашу послеобеденную прогулку в Академии, главным образом потому, что там наверняка было немногочисленно в этот час. В назначенное время мы встретились в доме Пизона; оттуда, занятые разнообразными разговорами, мы прошли шесть фарлонгов, лежащих между Двойными Воротами и Академией; и, войдя в стены, которые могут служить столь веским основанием для их славы, нашли там уединение, которого искали. "Происходит ли это, - сказал Пизон, - по какому-то природному инстинкту или из-за какого-то заблуждения, что, когда мы видим те самые места, где жили знаменитые люди, мы гораздо более тронуты, чем когда слышим о том, что они сделали, или читаем то, что они написали? Именно таким образом я переживаю в этот момент. Я думаю о Платоне, который, как нам говорят, был первым, кто читал лекции в этом месте; его маленький сад, расположенный совсем рядом, кажется, не только напоминает мне о нем, но и на самом деле рисует его перед моими глазами. Здесь говорил Спевсипп, здесь Ксенократ, здесь его ученик Полемо — Полемо действительно принадлежало это место, которое мы имеем перед собой ". Это был тот самый Полемо, который был обращен, как мы бы сказали, когда, ворвавшись после ночного пирушки на лекцию, в которой Ксенократ рассуждал о воздержании, он слушал с такой целеустремленностью, что с этого момента стал другим человеком. Затем Аттик описывает, как он обнаружил то же очарование ассоциации в саду, принадлежавшем его собственному учителю Эпикуру; в то время как Квинт Цицерон дополняет то, что мы бы назвали классическим элементом, говоря о Софокле и роще Колона, все еще музыкальной, кажется, тем же пением соловья, которое усаждало слух поэта более трех столетий назад.

Одно или несколько, а может быть, и не одно из этих знаменитых мест часто посещал молодой Цицерон. Вероятно, он был свидетелем, а возможно, и принимал участие (поскольку в члены клуба допускались посторонние) в торжествах, которыми коллегия афинской молодежи (эфебов) отмечала славу своего города, процессии к могилам тех, кто погиб при Марафоне, и лодочных гонках в Саламинском заливе. То, что он доставил своему отцу какие-то неприятности, совершенно очевидно. Его частным наставником по риторике, как мы должны были бы его называть, был некто Горгий, человек способный и довольно известный писатель, но никчемный и распутный малый. Цицерон безапелляционно приказал своему сыну уволить его, и молодой человек, похоже, подчинился и исправился. Мы можем надеяться, по крайней мере, что раскаяние, которое он выражает в своих проступках в письме к Тиро, вольноотпущеннику своего отца, было искренним. Вот его картина своей жизни в дни покаяния и трезвости: "Я нахожусь в условиях самой тесной близости с Кратиппом, живу с ним скорее как сын, чем как ученик. Я не только с восторгом слушаю его лекции, но и очень восхищен сердечностью, которая свойственна этому человеку. Я провожу с ним целые дни и часто немалую часть ночи, потому что прошу его ужинать со мной как можно чаще. Это стало у него настолько привычным, что он часто заглядывает к нам за обедом, когда мы его не ждем; он отбрасывает суровость философа и шутит с нами самым приятным образом. Что касается Бруттия, он никогда не покидает меня; каким бы скромным и строгим ни был его образ жизни, он все же самый восхитительный собеседник. Ибо мы не полностью исключаем веселье из наших ежедневных занятий филологией. Я нанял для него жилье неподалеку и делаю все, что в моих силах, чтобы помочь его бедности из моих собственных скудных средств. Я начал практиковаться в греческой декламации с Кассием и хочу пройти курс латыни с Бруттием. Мои друзья и ежедневные спутники - ученики, которых Кратипп привез с собой из Митилены, начитанные люди, которых он высоко одобряет. Я также часто встречаюсь с Эпикратом, который является первым человеком в Афинах". После нескольких приятных слов в адрес Тиро, который купил ферму и которого он ожидает увидеть превратившимся в фермера, приносящим припасы, проводящим консультации со своим управляющим и кладущим ему в карман фруктовые косточки от десерта, он говорит: "Я был бы рад, если бы вы как можно скорее прислали мне переписчика, предпочтительно грека. Мне приходится тратить много сил на то, чтобы делать свои заметки".

Незадолго до этого один из друзей Цицерона прислал удовлетворительный отчет о поведении молодого человека его отцу. "Я обнаружил, что ваш сын предан самым похвальным занятиям и пользуется отличной репутацией уравновешенного человека. Не воображай, мой дорогой Цицерон, что я говорю это, чтобы доставить тебе удовольствие; в Афинах нет более привлекательного молодого человека, чем твой сын, и никого более преданного тем высоким целям, в которых ты хотел бы его заинтересовать".

Среди современников юного Цицерона был, как уже говорилось, поэт Гораций. Его детство было более прилежным. Его не оторвали от учебников, чтобы он служил кавалерийским офицером при Помпее. Соответственно, в нем мы видим обычный курс обучения римского юноши. "Мне выпал жребий, - говорит он, - вырасти в Риме и узнать, как сильно гнев Ахилла навредил грекам. Другими словами, он читал своего Гомера точно так же, как английский мальчик читает его в Итоне или Харроу. "Добрые Афины, - продолжает он, - добавили мне немного больше знаний, чтобы я мог отличать добро от зла и искать истину в Академических рощах". И точно так же английская молодежь продолжает изучать философию в Оксфорде.

Учеба двух молодых людей была прервана по той же причине - гражданской войной, последовавшей за смертью Цезаря. Они поступили на службу к Бруту, оба имели одинаковое звание военного трибуна, что более или менее соответствовало званию полковника в нашей собственной армии. Однако это было в основном декоративное звание, присваивавшееся иногда по милости командующего генерала, иногда всенародным голосованием. Молодой Цицерон действительно уже служил, и теперь он сильно отличился, добившись значительных успехов в командовании кавалерией, которую впоследствии дал ему Брут. Когда надежды партии были разбиты при Филиппах, он присоединился к младшему Помпею на Сицилии; но воспользовался возможностью амнистии, которая была предложена четыре года спустя, чтобы вернуться в Рим. Здесь он, должно быть, нашел своего старого сокурсника, который тоже примирился с победившей партией. Он был назначен членом коллегии авгуров, а также комиссаром монетного двора, и в 30 году до н.э. ему выпала честь разделить консульство с самим Августом. Именно ему была доставлена депеша, извещавшая об окончательном поражении и смерти Антония; и на его долю выпало привести в исполнение указ, предписывавший уничтожить все статуи павшего вождя. "Затем, - говорит Плутарх, - по воле небес Антоний был наконец наказан домом Цицерона". Срок его полномочий истек, он отправился губернатором в Азию или, по некоторым данным, в Сирию; и таким образом исчез из поля нашего зрения.

Плиний Старший рассказывает нам, что он был пьяницей, саркастически замечая, что он стремился отомстить Антонию, лишив его репутации, которой тот прежде пользовался как самый ярый пьяница того времени. Поскольку история, которую он рассказывает о том, что младший Цицерон смог залпом проглотить двенадцать пинт вина, явно невероятна, возможно, мы можем не верить всему этому, а вместе с ним и другому анекдоту, что он бросил кубок в голову Марку Агриппе, зятю императора, а после него величайшему человеку Рима.

ГЛАВА III.

ВО ВРЕМЕНА ДИКТАТОРА.

В ноябре 82 года до н.э. Корнелий Сулла стал абсолютным хозяином Рима. В мои задачи не входит рассказывать историю этого человека. Он был великим воином, одержавшим победы в Африке и Азии над врагами Рима и в самой Италии над "союзниками", как их называли, то есть итальянскими народами, которые в разное время заключали договоры с Римом и которые в начале первого века до нашей эры восстали против него, думая, что их лишили прав и привилегий, которые им принадлежали. И он был лидером партии знати, точно так же, как Мариус был лидером партии народа. Однажды он уже добился власти в столице, и тогда он пользовался своей властью умеренно. Но он был отозван, чтобы продолжить войну в Азии против Митридата, великого понтийского царя; и его враги одержали верх и самым жестоким образом воспользовались представившейся возможностью. Был подготовлен ужасный список жертв, названный "проскрипцией", потому что он был вывешен на форуме. Пятьдесят сенаторов и тысяча рыцарей (мы должны называть их пэрами и джентльменами) были казнены, почти все без какого-либо суда. Сам Сулла был объявлен вне закона. Но у него была армия, которую он привел к победе и обогатил призовыми деньгами, и которая была всецело предана ему; и он не был склонен позволять своим врагам торжествовать. Он поспешил обратно в Италию и высадился весной 83-го. В ноябре следующего года у стен Рима произошло последнее сражение войны.

Армия противника была полностью уничтожена, и все было в руках Суллы. Он подождал несколько дней за пределами города, пока Сенат не принял указ, дающий ему абсолютную власть изменять законы, занимать государственные должности и распоряжаться жизнью и имуществом граждан так, как ему заблагорассудится. Сделав это, он вступил в Рим. Затем последовал еще один запрет. Главный из его врагов, Мариус, исчез. Он умер, терзаемый, как говорили, угрызениями совести, через семнадцать дней после того, как достиг венца славы, обещанного ему в юности оракулом, и был назначен консулом в седьмой раз. Завоевателю пришлось довольствоваться той же местью, что и Карлу II. в нашей собственной стране он расправился с останками Кромвеля. Прах Мария был извлечен из его гробницы на Фламиниевой дороге, великой Северной дороге Рима, и брошен в Анио. Но многие из его друзей и партизан выжили, и они были безжалостно убиты. Восемьдесят имен были внесены в список погибших в первый день, двести двадцать - во второй и еще столько же - в третий. К смерти многих из этих жертв политика не имела никакого отношения. Сулла позволил своим друзьям и фаворитам внести в список имена людей, на которых они затаили обиду или чьей собственности они домогались. Никто не знал, кто может пасть следующим. Даже собственные сторонники Суллы были встревожены. Молодой сенатор Гай Метелл, представитель семьи, которая была сильно привязана к Сулле и с которой он был связан узами брака, набрался смелости публично спросить его, когда наступит конец этому ужасному положению вещей. "Мы не умоляем вас, - сказал он, - смягчить наказание тех, кого вы решили устранить; мы умоляем вас покончить с беспокойством о тех, кого вы решили пощадить". "Я еще не уверен, - ответил Сулла, - кого я пощажу". "Тогда, по крайней мере, - сказал Метелл, - ты можешь сказать нам, кого ты намерен наказать". "Это я сделаю", - ответил тиран. Последовавшее за этим время действительно было ужасным, Плутарх так описывает его: "Он обличал любого, кто мог бы приютить или спасти жизнь объявленного вне закона человека, смертной казнью за его человечность. Он не делал исключений ни для матери, ни для сына, ни для родителя. Убийцы получили плату в размере двух талантов (около 470 фунтов стерлингов) за каждую жертву; она была выплачена рабу, убившему своего хозяина, и сыну, убившему своего отца. Считалось, что самым чудовищным из всего этого было то, что сыновья и внуки запрещенных лиц были объявлены юридически позорными и что их имущество было конфисковано. Проскрипция была проведена не только в Риме, но и во всех городах Италии. Не было ни одного храма, ни одного дома, которые не были бы осквернены кровью. Мужья были убиты на руках своих жен, а сыновья - на руках своих матерей. И число тех, кто пал жертвой гнева и ненависти, было невелико по сравнению с числом тех, кто был убран с дороги ради своей собственности. Убийцы вполне могли бы сказать: "Этот человек погиб в своем прекрасном особняке, или в своих садах, или в своих банях". Квинт Аврелий, мирный гражданин, который лишь настолько участвовал в недавних гражданских беспорядках, что сочувствовал несчастьям других, придя на форум, прочитал список запрещенных и нашел в нем свое собственное имя. "К несчастью для меня, - сказал он, - именно моя ферма в Альбе стала причиной моего разорения"; и не успел он пройти и нескольких шагов, как был зарублен человеком, который преследовал его. Поведение Луция Катилины было особенно безнравственным. Он убил своего собственного брата. Это было до начала проскрипции. Он пошел к Сулле и попросил внести это имя в список, как если бы этот человек был все еще жив; и оно было внесено. Его благодарность Сулле была продемонстрирована тем, что он убил некоего Мария, принадлежавшего к противоположной фракции, и принес его голову Сулле, когда тот сидел на форуме. (Этот Марий был родственником великого демократического лидера и одним из самых популярных людей в Риме.) Сделав это, он омыл руки в бассейне со святой водой в храме Аполлона".

Говорят, что погибло сорок сенаторов и тысяча шестьсот рыцарей, а также более чем столько же людей неизвестного происхождения. Наконец, первого июня 81 года список был закрыт. Тем не менее, царству террора еще не пришел конец, что в полной мере доказывает странная история, которую я сейчас расскажу. Изучение деталей конкретного случая помогает нам лучше представить, каково было на самом деле жить в Риме во времена диктатора, чем чтение множества страниц с общим описанием. История тем более впечатляющая, что события произошли после того, как порядок был восстановлен и все должно было идти своим чередом.

Действие запрета закончилось, как уже было сказано, в начале лета 81 года. Осенью того же года некий Секст Росций был убит на улицах Рима, когда возвращался домой с ужина. Росций был уроженцем Америи, маленького городка в Этрурии, расположенного примерно в пятидесяти-шестидесяти милях к северу от Рима. Он был богатым человеком, обладавшим, по-видимому, некоторым вкусом и культурой, а также близким другом некоторых из самых знатных семей Рима. В политике он принадлежал к партии Суллы, которой действительно в ее менее благополучные дни он оказал хорошую услугу. С момента своего восстановления к власти он много жил в Риме, очевидно, считая себя, на что он действительно имел право, в полной безопасности от любой опасности проскрипции. Но он был богат, и у него были враги среди его собственных родственников, которые желали его смерти и которые могли бы извлечь из нее выгоду. Один из них, некий Тит Росций, по прозвищу Магн, на момент убийства проживал в Риме; другой, известный как Капитон, находился дома в Америи. Убийство было совершено около семи часов вечера. Гонец немедленно покинул Рим с новостями и так поспешил в Америю, что прибыл туда до рассвета следующего дня. Как ни странно, он отправился в дом не сына убитого, который жил в Америи и занимался его хозяйством, а враждебно настроенного родственника Капито. Три дня спустя Капитон и Магнус направились в лагерь Суллы (он осаждал Волатерру, другой этрусский город). Они побеседовали с неким Хрисогоном, греческим вольноотпущенником диктатора, и объяснили ему, какую богатую добычу они могли бы получить, если бы он только помог им. Покойный, по-видимому, оставил крупную сумму денег и тринадцать ценных ферм, почти все из которых спускались к Тибру. А сына, законного наследника, можно было легко убрать с дороги. Росций был хорошо известным и популярным человеком, однако после его исчезновения не последовало никакого резонанса. С сыном, простым фермером, несведущим в делах и совершенно неизвестным Риму, было бы легко иметь дело. В конце концов, все трое заключили союз. Проскрипция должна была быть, так сказать, восстановлена в данном конкретном случае, и имя Росция было включено в список осужденных. Все его богатство считалось собственностью запрещенных и было продано с аукциона. Его приобрел Хрисогон. Реальная стоимость составляла от пятидесяти до шестидесяти тысяч фунтов. Заплаченная цена составила чуть меньше восемнадцати фунтов. Три лучшие фермы были немедленно переданы Капитану в качестве его доли добычи. Магнус действовал как агент Хрисогона в отношении оставшейся части. Он завладел домом, в котором жил Росций младший, наложил руки на все его содержимое, среди которого была значительная сумма денег, и выгнал несчастного молодого человека совершенно без гроша в кармане.

Эти действия вызвали большое возмущение в Америи. Местный сенат принял резолюцию о том, что комитет десяти должен отправиться в лагерь Суллы и ознакомить его с фактами с целью исключения имени отца из списка запрещенных лиц и восстановления сына в правах наследника. Соответственно, десять человек направились в лагерь, но Хрисогон обманом опередил их. Высокопоставленные лица объяснили им, что нет необходимости беспокоить Суллу этим делом. Имя должно быть удалено из списка; свойство должно быть восстановлено.

Капитон, который был одним из десяти, добавил к этому свое личное заверение, и депутация, удовлетворенная тем, что их цель достигнута, вернулась в Америю. Разумеется, не было никакого намерения выполнять данные таким образом обещания. Первой идеей троицы было поступить с сыном так, как они поступили с отцом. Ему был передан некоторый намек на эту цель, и он бежал в Рим, где его гостеприимно принимала Цецилия, богатая дама из семьи Метеллов и, следовательно, родственница жены Суллы, которая действительно носила то же имя. Поскольку теперь он был в безопасности от насилия, было решено пойти на смелый шаг и обвинить его в убийстве своего отца. Каким бы возмутительным это ни казалось, план обещал некоторый успех. Обвиняемый был человеком на редкость замкнутого характера, с грубыми и хамоватыми манерами и не помышлял ни о чем, кроме деревенских занятий, которым была посвящена его жизнь. Его отец, с другой стороны, был человеком добродушного нрава, проводившим большую часть своего времени в аристократических кругах Капитолия. Если между ними и не было положительного отчуждения, то было большое расхождение во вкусах и, вероятно, очень мало общения. Это было бы легко раздуть до чего-то вроде правдоподобного обвинения, особенно с учетом обстоятельств дела. Не вызывало сомнений, что за прошедший год было совершено много убийств, очень похожих на убийство Росция, причем некоторые из них были совершены сыновьями. Это был первый случай, когда предполагаемый преступник предстал перед судом, и было вероятно, что присяжные будут склонны к суровости. В любом случае, каковы бы ни были доказательства, можно было надеяться, что вердикт не будет таким, чтобы подразумевать вину фаворита Суллы. Он был человеком, который больше всего выиграл бы от осуждения обвиняемого, и была надежда, что он предпримет необходимые средства для обеспечения этого.

Друзья отца были убеждены в невиновности сына и приложили все усилия, чтобы обеспечить ему эффективную защиту. Суллу так боялись, что ни один из наиболее выдающихся ораторов того времени не пожелал взяться за эту задачу. Цицерон, однако, обладал мужеством, которого они ждали; и его речь, вероятно, мало изменившаяся по сравнению с той формой, в которой он ее произнес, сохранилась.

Это было ужасное преступление, в котором обвинялся его клиент, и наказание было самым ужасным из всех, известных римскому праву. Лицо виновного было покрыто волчьей шкурой, как у человека, недостойного увидеть свет; на ноги его были надеты деревянные башмаки, чтобы они не касались земли. Затем его засунули в кожаный мешок, а вместе с ним четырех животных, которые, как предполагалось, символизировали все самое отвратительное и порочное: собаку, всеобщий объект презрения; петуха, вошедшего в поговорку из-за отсутствия всякой сыновней привязанности; ядовитую гадюку; и обезьяну, которая была низменной копией человека. В этой странной компании он был брошен в ближайшую реку или море.

Цицерон начинает с объяснения, почему он взялся за дело, от которого отказались его старшие по званию. Это было не потому, что он был смелее, а потому, что он был более незначительным, чем они, и мог безнаказанно говорить, когда у них не было иного выбора, кроме как молчать. Затем он подробно излагает факты: убийство Росция, захват его имущества, бесплодную депутацию к Сулле, бегство сына в Рим и дерзкую решимость его врагов обвинить его в отцеубийстве. Они убили его отца, они отняли у него наследство, а теперь обвиняют его — в каком преступлении? Несомненно, ни в чем ином, как в том, что он избежал их нападения. Эта штука напомнила ему историю о Фимбри и Сцеволе. Фимбрия, абсолютный безумец, что допускали все, кто сам не был сумасшедшим, подговорил какого-то негодяя заколоть Сцеволу

на похоронах Мария. Его закололи, но не убили. Когда Фимбрия обнаружил, что он, вероятно, выживет, он предъявил ему обвинение. За что вы обвиняете такого безупречного человека? спросил кто-то. За что? за то, что не позволил нанести себе удар ножом в сердце. Именно поэтому конфедераты предъявили Росцию обвинение. Его преступление заключалось в том, что он сбежал из их рук. "Росций убил своего отца", - говоришь ты. "Молодой человек, я полагаю, уведенный никчемными товарищами". Это не так; ему больше сорока лет. "Расточительность и долги довели его до этого". Нет; вы сами говорите, что он никогда не ходит на развлечения и уж точно ничего не должен. "Ну, - скажете вы, - его отец невзлюбил его". - Почему он невзлюбил его? "Этого, - ответите вы, - я не могу сказать; но он определенно оставил при себе одного сына и оставил этого Росция присматривать за своими фермами". Конечно, это странное наказание - возлагать на него ответственность за такое прекрасное состояние. "Но, - повторяете вы, - он оставил при себе другого". "А теперь послушайте меня, - восклицает Цицерон, с диким сарказмом обращаясь к обвинителю, - "Провидение так и не позволило вам узнать, кем был ваш отец. И все же вы читали книги. Помните ли вы, как в пьесе Цецилия у отца было два сына, и он оставил одного при себе, а другого оставил в деревне? и помните ли вы, что тот, кто жил с ним, на самом деле не был его сыном, другой был чистокровным, и все же именно чистокровный жил в деревне? И разве это такой уж позор - жить в деревне? Хорошо, что вы не жили в старые времена, когда они отрывали Диктатора от плуга; когда люди, которые сделали Рим таким, какой он есть, обрабатывали свою собственную землю, но не позарились на землю других. "Ах! но, - скажете вы, - отец намеревался лишить его наследства". Почему? "Я не могу сказать". Он лишил его наследства? "Нет, он этого не делал". Кто его остановил? "Ну, он думал об этом". Кому он это сказал? "Никому". Несомненно, - восклицает Цицерон, - "это значит злоупотреблять законами, правосудием и вашим достоинством самым низменным и беспричинным образом, выдвигать обвинения, которые он не только не может, но даже и не пытается доказать".

Вскоре после этого следует живое описание поведения прокурора. "Это действительно стоило того, если бы вы обратили внимание, джентльмены, на полное безразличие этого человека, когда он вел свое дело. Я так понимаю, что когда он увидел, кто сидит на этих скамейках, он спросил, был ли такой-то илитакая-то привлечена к защите. Обо мне он никогда не думал, потому что я никогда раньше не выступал по уголовному делу. Когда он обнаружил, что никого из обычных ораторов это не касается, он стал настолько беспечным, что, когда его охватывало чувство юмора, он садился, затем расхаживал по комнате, иногда подзывал слугу, чтобы тот отдал ему распоряжения, я полагаю, насчет обеда, и, конечно же, относился к этому двору, в котором вы сидите, как к абсолютному уединению. Наконец он закончил свою речь. Я поднялся, чтобы ответить. Было видно, что он снова вздохнул, и это был я, и никто другой. Я заметил, джентльмены, что он продолжал смеяться и был невнимателен, пока я не упомянул Хрисогона. Как только я дошел до него, мой друг восторженно и был явно удивлен. Я увидел, что тронуло его, и повторил это имя во второй раз, потом в третий. С тех пор люди, я полагаю, не переставали резво бегать взад и вперед, чтобы сообщить Хрисогону, что в стране нашелся человек, который осмелился воспротивиться его желанию, что дело рассматривалось не так, как он себе представлял; что фиктивная продажа товаров была разоблачена, с конфедерацией обошлись жестоко, его популярностью и властью пренебрегли, что люди уделяли все свое внимание делу и что общее мнение было таково, что сделка в целом была позорной.

"Тогда, - продолжал оратор, - это обвинение в отцеубийстве, столь чудовищным является преступление, должно подкрепляться самыми вескими доказательствами. В Таррацине был случай, когда мужчину нашли убитым в комнате, где он спал, а двое его сыновей, оба молодые

люди, находились в той же комнате. Не удалось найти никого, ни раба, ни свободного человека, кто, по-видимому, совершил это деяние; и поскольку двое сыновей, какими бы взрослыми они ни были, заявили, что ничего об этом не знали, их обвинили в отцеубийстве. Что могло быть такого подозрительного? Подозрительного, не так ли? Нет, хуже. Что ни тот, ни другой ничего об этом не знали? Что кто-то отважился войти в эту комнату в то самое время, когда в ней находились двое молодых людей, которые, несомненно, заметили бы эту попытку и предотвратили бы ее? Тем не менее, поскольку присяжным было доказано, что молодые люди были найдены крепко спящими с широко открытой дверью, они были оправданы. Считалось невероятным, что люди, только что совершившие столь чудовищное преступление, могут спать. Ведь Солон, мудрейший из всех законодателей, составляя свой свод законов, не предусматривал наказания за это преступление; и когда его спросили о причине, он ответил, что, по его мнению, никто никогда не совершит его. Предусмотреть наказание означало бы скорее предположить, чем предотвратить. Наши собственные предки действительно предусмотрели наказание, но оно было самого странного рода, показывая, каким странным, каким чудовищным они считали преступление. И какие доказательства вы приводите? Этого человека не было в Риме. Это доказано. Следовательно, он должен был сделать это, если он вообще это сделал, руками других. Кто были эти другие? Были ли они свободными людьми или рабами? Если они были свободными людьми, то откуда они пришли, где живут? Как он их нанял? Где доказательства? У вас нет ни малейших доказательств, и все же вы обвиняете его в отцеубийстве. И если они были рабами, то где, я снова спрашиваю, они? *Были* два раба, которые видели это дело; но они принадлежали сообщнику, а не обвиняемому. Почему вы их не предъявите? Исключительно потому, что они докажут вашу вину.

"Именно там мы действительно находим истинную суть дела. Это была максима известного юриста: спросите: *кто извлек выгоду из содеянного?* Я спрашиваю это сейчас. Это был Магнус, который извлек выгоду. Раньше он был беден, а теперь он богат. И потом, он был в Риме во время убийства; и он был знаком с ассасинами. Вспомните также странную скорость, с которой он отправил известие в Америю, причем отправил не сыну, как можно было бы ожидать, а своему сообщнику Капитону; ибо то, что он был сообщником, достаточно очевидно. Кем еще он мог быть, если так обманул депутацию, отправившуюся к Сулле в Волатерре?"

Затем Цицерон повернулся к Хрисогону и атаковал его со смелостью, которая удивляет, если вспомнить, как высоко он пользовался благосклонностью абсолютного властителя Рима: "Посмотрите, как он выходит из своего прекрасного особняка на Палатине. Да, и у него есть для собственного удовольствия восхитительное убежище в пригороде, а кроме того, множество поместий, и ни одно из них не было бы одновременно красивым и удобно расположенным поблизости. Его дом заставлен посудой из Коринфа и Делоса, среди них знаменитый самодействующий кухонный прибор, который он недавно купил по такой высокой цене, что прохожие, услышав, как продавец называет самую высокую цену, предположили, что это, должно быть, продается ферма. А сколько, подумайте вы, у него тисненой посуды, и пурпурных покрывал, и картин, и статуэток, и разноцветного мрамора! Такие количества, скажу я вам, как скудные, можно было бы собрать в одном особняке во времена беспорядков и грабежей со стороны многих богатых заведений. И его домочадцы — почему я должен описывать, сколько их насчитывается и насколько разнообразны их достижения? Я не говорю об обычной прислуге, поваре, пекаре, носилках. Да ведь просто для услаждения своего слуха у него такое множество мужчин, что вся округа снова наполняется эхом ежедневной музыки певцов, арфистов и флейтистов, а также шумом его ночных банкетов. Какие ежедневные расходы, какая

расточительность, как вы хорошо знаете, джентльмены, должны быть в такой жизни, как эта! какими дорогостоящими должны быть эти банкеты! Дстойные внимания банкеты, действительно, устраиваемые в таком доме — доме, говорю ли я, а не фабрике порока, месте развлечения для всякого рода преступлений? А что касается самого человека — вы видите, господа, как он суетится повсюду по форуму, с модно уложенными волосами и благоухая духами; какая толпа граждан, да, горожан, следует за ним; вы видите, как он смотрит на всех свысока, думает, что никто не может сравниться с ним, воображает себя единственным богатым и могущественным человеком в Риме?"

Присяжные, похоже, заразились мужеством адвоката. Они оправдали обвиняемого. Неизвестно, вернул ли он когда-либо свое имущество. Но поскольку Сулла отошел от власти в следующем году и умер годом позже, мы можем надеяться, что фавориты и злодеи, которых он приютил, были вынуждены отказаться хотя бы от части своих завоеваний.

ГЛАВА IV.

РИМСКИЙ МАГИСТРАТ.

Из всех низменных существ, находивших выгоду в резне и грабежах, которыми командовал или которые разрешал Сулла, ни одно не было более низменным, чем Гай Веррес. Преступления, которые он совершил, были бы за пределами нашего понимания, если бы не тот факт, что он никогда не отрицал их. Он предал своих друзей, он извратил правосудие, он разграбил храм так же без зазрения совести, как разграбил частный дом, он убил гражданина так же смело, как убил иностранца; на самом деле, он был самым дерзким, самым жестоким, самым бесстыдным из людей. И все же он дослужился до высоких постов в стране и за рубежом, и если бы не мужество, проницательность и красноречие одного человека, он мог бы подняться до самых высот. То, что иногда приходилось терпеть римским гражданам, а римским подданным, надо опасаться, очень часто, видно из картины, которую мы можем нарисовать *оримском магистрате*.

Римские политики начинали общественную жизнь в качестве квесторов. (Квестором было должностное лицо, занимавшееся денежными вопросами высших магистратов. Каждому губернатору провинции подчинялся один или несколько квесторов. Они избирались в Риме, и их должности распределялись между ними по жребию.) Веррес был квестором в Галлии и растратил государственные деньги; он был квестором в Киликии вместе с Долабеллой, губернатором-единомышленником, и старательно использовал представившуюся возможность. На этот раз он наложил свои руки не только на деньги, но и на произведения искусства; и в них великие города, будь то в Азии или в Европе, все еще были богаты. Возможно, самое дерзкое из этих ограблений было совершено на острове Делос. Делос был известен во всем мире как остров Аполлона. Легенда гласила, что это было место рождения бога. Ни одно из его святилищ не было более посещаемым или более известным. Верресу были безразличны подобные соображения. Он лишил храм его лучших статуй и загрузил добычей нанятый им торговый корабль. Но на этот раз ему не посчастливилось заполучить ее. Островитяне, хотя и обнаружили кражу, на самом деле не осмелились жаловаться. Они думали, что это дело рук губернатора, а губернатор, хотя его действия могут быть подвергнуты импичменту по истечении срока его полномочий, не был человеком, которому можно было безопасно возражать. Но

внезапно на остров обрушился ужасный шторм. Отъезд губернатора был отложен. О том, чтобы отплыть в такую погоду, не могло быть и речи. Море действительно поднялось так высоко, что город стал едва пригоден для жилья. Затем корабль Верреса потерпел крушение, а статуи были найдены выброшенными на берег. Правитель приказал заменить их в храме, и буря утихла так же внезапно, как и возникла.

По возвращении в Рим Долабелла был привлечен к ответственности за вымогательство. С характерной низостью Веррес дал против него показания, настолько убедительные, что был вынесен обвинительный вердикт. Но таким образом он обеспечил себе собственные выгоды и так расточительно использовал их для подкупа голосов, что два или три года спустя был избран претором. Преторы выполняли различные функции, которые были возложены на них по жребию. Случайность, а может быть, это была хитрость, дала Верресу самую значительную из них. Он был назначен "претором города", то есть судьей, перед которым рассматривался определенный класс очень важных дел. Конечно, он показал себя возмутительно несправедливым. Одного случая его разбирательства может быть достаточно.

Некий Юний заключил контракт на ремонт храма Кастора. Когда Веррес вступил в должность, он умер, оставив несовершеннолетнего сына. Было допущено некоторое пренебрежение, вероятно, из-за смутного времени, к тому, чтобы контракты были должным образом исполнены, и Сенат принял резолюцию, согласно которой Веррес и один из его коллег-преторов должны были заняться этим вопросом. Храм Кастора подвергся проверке, как и другие, и Веррес, зная, что первоначальный подрядчик мертв, поинтересовался, кто был ответственным лицом. Когда он услышал о несовершеннолетнем сыне, он сразу же понял, что это прекрасная возможность. Это был один из принципов, который он установил для себя и которым он даже имел обыкновение делиться в интересах своих друзей, что из собственности подопечных можно извлечь большую прибыль. Было условлено, что опекун юного Юниуса возьмет контракт в свои руки, и, поскольку храм находился в отличном состоянии, никаких трудностей с этим не возникло. Веррес призвал стража предстать перед ним. "Есть ли какая-нибудь вещь, - спросил он, - которую ваш подопечный не сделал хорошо и которую мы должны потребовать от него?" "Нет, - сказал он, - все в полном порядке; все статуи и подношения на месте, а ткани в отличном состоянии". С точки зрения претора, это не удовлетворило его, и он решил нанести личный визит. Соответственно, он отправился в храм и осмотрел его. Потолок был превосходным; все здание в наилучшем состоянии. "Что нужно сделать?" он спросил одного из своих спутников. "Что ж, - сказал мужчина, - вам здесь нечего вмешиваться, разве что, возможно, потребовать, чтобы колонны были восстановлены в перпендикулярном положении". "Восстановлены в перпендикулярном положении? что вы имеете в виду? - спросил Веррес, который ничего не смыслил в архитектуре. Ему объяснили, что очень редко случается, чтобы колонна была абсолютно верна перпендикуляру. "Очень хорошо", - сказал Веррес. "Мы сделаем колонны перпендикулярными". Соответствующее уведомление было отправлено опекунам мальчика. Встревоженные перспективой неопределенной потери имущества своего подопечного, они добивались встречи с Верресом. Один из знатной семьи Марцелла посетил его и выразил протест против несправедливости судебного разбирательства. Протест был напрасен. Претор не проявлял никаких признаков смягчения. Оставался еще один способ, слишком хорошо известный всем, кому приходилось иметь с ним дело, добиться своей цели. Заявление должно быть подано его любовнице (греческой вольноотпущеннице по имени Хелидон, что означает "Ласточка"). Если бы ее удалось побудить проявить интерес к делу, можно было бы еще что-нибудь предпринять. Как ни унизителен был такой поступок для людей высокого положения и

чести, они решили в интересах своего подопечного пойти на это. Они отправились в дом Челидона. Она была заполнена людьми, которые искали милостей у претора. Некоторые умоляли принять решение в их пользу; некоторые - о новых судебных разбирательствах своих дел. "Я хочу владеть", - закричал один. "Он не должен отнимать у меня собственность", - сказал другой. "Не позволяйте ему судить меня", - закричал третий. "Собственность должна быть передана мне", - таково было требование четвертого. Одни отсчитывали деньги, другие подписывали облигации. Депутация, немного подождав, была допущена в присутствие. Их представитель объяснил суть дела, попросил помощи у Челидона и пообещал существенное вознаграждение. Дама была очень любезна. Она охотно сделает все, что в ее силах, и поговорит об этом с претором. Депутация должна прийти снова на следующий день и услышать, как ей это удалось. Они пришли снова, но обнаружили, что ничего нельзя сделать. Веррес был уверен, что в результате судебного разбирательства удастся получить крупную сумму денег, и решительно отказался от любого компромисса.

Затем они сделали предложение в размере около двух тысяч фунтов стерлингов. Это снова было отклонено. Веррес решил, что выставит контракт на аукцион, и сделал все возможное, чтобы хранители не узнали об этом. Здесь, однако, он потерпел неудачу. Они посетили аукцион и сделали ставку. Конечно, следовало согласиться на самую низкую цену, если он давал гарантию за хорошее выполнение работы. Но Веррес отказался принять ее. Он сам заключил контракт на сумму более пяти тысяч фунтов стерлингов, и это при том, что нашлись люди, готовые сделать это менее чем за шестую часть этой суммы. На самом деле было сделано очень мало. Четыре колонны были снесены и возведены заново из тех же камней. Другие были побелены; с некоторых сняли старый цемент и положили новый.[1] Самая высокая оценка всего, что только можно было пожелать, составляла менее восьмисот фунтов.

[Сноска 1: "Заостренная", я полагаю.]

Год его пребывания в должности закончился, и Верреса отправили губернатором на Сицилию. По правилам он должен был оставаться там всего двенадцать месяцев, но его преемник был задержан рабской войной в Италии, и его пребывание, таким образом, было продлено почти до трех лет, трех лет, в течение которых он совершил невероятное количество жестокостей и грабежей. Сицилия была, пожалуй, самой богатой из всех провинций. Ее плодородные пшеничные поля давали урожаи, которые теперь, когда сельское хозяйство в Италии начало приходить в упадок, обеспечивали Риму немалую часть хлеба насущного. В его городах, большинство из которых было основано несколько столетий назад колонистами из Греции, были накоплены богатства многих поколений. В целом римские завоеватели отнеслись к нему легкомысленно. Некоторые из его государств рано поняли, какая сторона окажется победительницей, и, вовремя заключив мир, обеспечили себе привилегии и имущество. Другим было позволено сдаться на выгодных условиях. Теперь это богатство увеличивалось без серьезных помех в течение более чем ста лет. Дома более богатого класса были полны богатых восточных гобеленов, золотых и серебряных пластин с искусной чеканкой или тиснением, статуй и картин, созданных руками самых известных художников Греции. Храмы были украшены дорогими подношениями и изображениями, известными во всем цивилизованном мире. Вероятно, сицилийцы были готовы заплатить что-то за привилегию находиться под властью Рима. И действительно, привилегия была не лишена ценности. Дни свободы действительно закончились; но беспорядки, непрекращающиеся раздоры, ожесточенная борьба между соседями и партиями также подошли к концу. Мужчинам было предоставлено накапливать

богатство и беспрепятственно наслаждаться им. Они были готовы удовлетворить любые умеренные требования. Они не жаловались, например, или, по крайней мере, не жаловались вслух, что они были вынуждены поставлять своим правителям фиксированное количество зерна по ценам ниже, чем можно было бы получить на открытом рынке. И они, вероятно, были бы готовы заручиться доброй волей губернатора, считавшего себя знатоком искусства, щедрыми подарками от своих музеев и картинных галерей. Но требовательность Верреса превзошла все границы как обычаев, так и выдержки. История о том, как он расправился с производителями пшеницы в провинции, слишком утомительна и запутанна, чтобы рассказывать ее в этом месте. Достаточно будет сказать, что он обогатил себя и свою алчную шайку последователей ценой полного разорения как земледельцев, так и римских капиталистов, которые обрабатывали эту часть государственного дохода. Что касается того, каким образом он наложил свои руки на имущество храмов и частных лиц, то его деяния были выразительно подытожены его обвинителем, когда он, как мы увидим впоследствии, предстал перед судом. "Я утверждаю, что во всей Сицилии, какой бы богатой и старинной ни была провинция, во всех этих городах, во всех этих богатых домах не было ни единого серебряного изделия, ни единого предмета коринфской или делосской посуды, ни одного драгоценного камня или жемчужины, ни одного изделия из золота или слоновой кости, ни одной картины, будь то на панели или холсте, которую он не разыскал и не рассмотрел, и, если это понравилось его фантазии, не сделал абстракции. Вы думаете, что это отличная мысль. Что ж, запомните, как я это говорю. Я делаю это огульное заявление не ради риторического преувеличения, я заявляю, что этот парень не оставил ни одной статьи подобного рода во всей провинции. Я говорю не языком профессионального обвинителя, а простой латынью. Нет, я выражусь еще яснее: ни в одном частном доме, ни в одном городе; ни в одном месте, мирском или даже священном; ни в руках одного сицилийца, ни в руках одного гражданина Рима он не оставил ни единого предмета, общественной или частной собственности, мирских или религиозных вещей, которые попадались ему на глаза или трогали его воображение".

Возможно, стоит рассказать о некоторых наиболее примечательных из этих актов грабежа. Некий Хейус, который одновременно был самым богатым и популярным гражданином Мессаны, имел в своем доме частную часовню большой древности, а в ней четыре статуи величайшей ценности. Там был Купидон работы Праксителя, точная копия известной работы, которая привлекала посетителей в неинтересный маленький городок Феспии в Беотии; Геркулес с резца Миро; и две бронзовые фигуры, "Корзиноносцы", как их называли, потому что они несли священные сосуды в корзинах на головах. Это были работы Поликлита. Купидона привезли в Рим, чтобы украсить форум по какому-то важному случаю, и он был тщательно восстановлен на своем месте. Часовня и ее содержимое были главной достопримечательностью города. Никто не проходил мимо, не осмотрев ее. Поэтому, естественно, это было одной из первых вещей, которые увидел Веррес, поскольку Мессана находилась на пути в столицу его провинции. На самом деле он не брал статуэтки, он купил их; но цена, которую он заплатил, была настолько смехотворно низкой, что покупка была всего лишь другим названием грабежа. За четыре было отдано что-то около шестидесяти фунтов. Если мы вспомним цены, которые платили бы сейчас за пару статуй Микеланджело и два шедевра Рафаэля и Корреджо, мы можем представить, какой чудовищной выдумкой, должно быть, была эта продажа, тем более чудовищной, что владелец был богатым человеком, у которого не было соблазна продавать и который, как было известно, ценил свое имущество не только как произведения искусства, но и как добавляющее достоинства к своему наследственному культу.

Богатый житель Тиндариса пригласил губернатора на обед. Он был римским гражданином и вообразил, что может отважиться на демонстрацию, которую провинциал мог бы счесть опасной. Среди тарелок на столе стояло серебряное блюдо, украшенное несколькими очень красивыми медальонами. Она пришлась по вкусу гостю, который тут же убрал ее и посчитал себя чудом умеренности, когда отправил ее обратно вместе с извлеченными медальонами.

Однажды его секретарь случайно получил письмо, на котором был заметный отпечаток состава мела, который греки использовали для печати. Это привлекло внимание Верреса, который спросил, откуда оно взялось. Услышав, что письмо отправлено из Агриджента, он сообщил своим агентам в этом городе о своем желании, чтобы кольцо с печаткой было немедленно доставлено ему. Что и было сделано. Кстати, у незадачливого владельца, еще одного римского гражданина, кольцо действительно сняли с пальца.

Еще более дерзким поступком было ограбление, на этот раз не простого сицилийского провинциала или римского гражданина, а одного из царей-данников, наследника великого дома Антиохов, который не так давно сравнился с могуществом Рима. Двое молодых принцев посетили Рим, намереваясь предъявить свои претензии на египетский трон, который, как они утверждали, достался им через их мать. Времена были неблагоприятны для этого иска, и они вернулись в свою страну, причем один из них, Антиох, вероятно, старший, решил по пути захватить Сицилию. Он, естественно, посетил Сиракузы, где проживал Веррес, и Веррес сразу же воспользовался прекрасной возможностью. Первым делом он прислал гостю солидный запас вина, оливкового масла и пшеницы. Следующим было пригласить его на обед. Столовая и стол были богато убраны, особенно великолепной была серебряная посуда. Антиох был в восторге от угощения и, не теряя времени, ответил на комплимент. Обед, на который он пригласил губернатора, был сервирован с великолепием, с которым Верресу не с чем было сравнить. Там в изобилии было серебряное блюдо, а также золотые кубки, украшенные великолепными драгоценными камнями.

Среди украшений стола бросался в глаза цельный сосуд для питья, вероятно, из аметиста, с золотой ручкой. Веррес выразил восторг от увиденного. Он управлял каждым судном и громко хвалил его. Простодушный король, с другой стороны, выслушал комплимент с гордостью. На следующий день пришло сообщение. Не одолжит ли король несколько самых красивых кубков его превосходительству? Он хотел показать их своим художникам. Был сделан особый заказ на кубок с аметистом. Все было отправлено без малейшего подозрения об опасности.

Но у короля все еще было при себе нечто, что особенно возбуждало алчность римлянина. Это был золотой канделябр, богато украшенный драгоценными камнями. Он предназначался для подношения римскому божеству-покровителю, Юпитеру Капитолийскому. Но храм, который был сожжен дотла во время гражданских войн, еще не был восстановлен, и принцы, озабоченные тем, чтобы их дар не был замечен до того, как он будет публично преподнесен, решили увезти его с собой в Сирию. Однако Веррес, неизвестно каким образом, получил некоторое представление об этом деле и упросил Антиоха показать ему это. Молодой принц, который был далек от того, чтобы быть подозрительным, но вряд ли был достаточно осторожен, тщательно завернул его и отправил во дворец губернатора. Когда он внимательно осмотрел его, гонцы приготовились отнести обратно. Веррес, однако, недостаточно насмотрелся на него. Он явно заслуживал более чем одного осмотра. Оставят ли они это у него на время? Они оставили это, ничего не подозревая.

Антиох, со своей стороны, не испытывал никаких опасений. Когда прошло несколько дней, а канделябр так и не был возвращен, он послал за ним. Губернатор попросил гонца прийти снова на следующий день. Это показалось странной просьбой; тем не менее человек пришел снова, и снова безуспешно. Затем сам король посетил губернатора и умолял его вернуть письмо. Веррес намекнул, или, скорее, прямо сказал, что ему это очень понравилось бы в качестве подарка. "Это невозможно, - ответил принц, - честь, воздаваемая Юпитеру, и общественное мнение запрещают это. Весь мир знает, что подношение должно быть сделано, и я не могу отступить от своего слова". Веррес понял, что мягкие слова будут бесполезны, и сразу же перешел к другой линии. Король, сказал он, должен покинуть Сицилию до наступления темноты. Этого требовала общественная безопасность. Он слышал о пиратской экспедиции, которая направлялась из Сирии в провинцию, и что его отъезд был необходим. У Антиоха не было иного выбора, кроме как повиноваться; но перед отъездом он публично выразил протест на рыночной площади Сиракуз против совершенного зла. О других своих ценностях, золоте и драгоценностях, он не так сильно сожалел; но было чудовищно, что у него отняли дар, который он предназначал для алтаря римского бога-покровителя.

Сицилийские города были способны защитить свои владения не лучше, чем частные лица. Сегеста была городом, который рано встал на сторону римлян, с которыми его жителей связывали легендарные отношения. (История заключалась в том, что Эней по пути в Италию оставил там нескольких своих последователей, которые не желали больше терпеть тяготы путешествия.) В первые дни он был разрушен карфагенянами, которые унесли все его самое ценное имущество, самым ценным из которых была статуя Дианы, произведение необычайной красоты, наделенное особой святостью. Когда Карфаген пал, Сципион, его победитель, вернул трофеи, которые были вывезены из городов Сицилии. Среди прочего, в Агригенте был обнаружен его знаменитый медный бык, в котором, как говорили, тиран Фаларис сжигал свои жертвы. Сегесте повезло не меньше, чем ее соседям, и она получила обратно свою Диану. Она была установлена на пьедестале, на котором было начертано имя Сципиона, и стала одной из самых заметных достопримечательностей острова. Статуя была колоссальных размеров, но скульптор сумел сохранить подобие девичьей грации и скромности. Веррес увидел ее и возжелал. Он потребовал этого от городских властей и получил отказ. Губернатору было легко заставить их пострадать за их упрямство. Все их налоги были удвоены, и более чем удвоены. На них были наложены тяжелые поборы на людей, деньги и зерно. Еще более ненавистное бремя посещения двора и успехов губернатора было возложено на их основных граждан. Это было состязание, на успех которого они не могли надеяться. Сегеста решил, что от статуи следует отказаться. Соответственно, его вынесли из города, и все женщины города, замужние и незамужние, последовали за ним в его путешествии, осыпая его благовониями и цветами и воскуривая перед ним благовония, пока он не вышел за пределы их территории.

Если у Сегесты была своя Диана, то у Тиндариса был свой Меркурий; и это тоже Веррес решил пополнить своей коллекцией. Он отдал приказ Сопатеру, главному судье этого места, перевезти статую в Мессану. (Мессана, расположенная недалеко от Италии, была местом, где он хранил свою добычу.) Сопатеру, отказавшемуся, пригрозили самыми суровыми карами, если это не будет сделано без промедления, и он счел за лучшее передать дело в местный сенат. Предложение было встречено возгласами неодобрения. Веррес нанес второй визит в город и сразу же поинтересовался, что было сделано со статуей. Ему ответили, что это невозможно. Сенат постановил карать смертью любого, кто прикоснется к нему. Кроме того, это было бы актом величайшего нечестия. "Нечестия?" он набросился на незадачливых магистратов:

"Смертная казнь! сенат! какой сенат? Что касается тебя, Сопатер, ты не сбежишь. Отдайте мне статую, или вы будете забиты до смерти". Сопатер снова передал дело своим горожанам и со слезами умолял их уступить. Собрание разошлось в большом смятении, не дав ему никакого ответа. Снова вызванный к губернатору, он повторил, что ничего нельзя сделать. Но у Верреса все еще были в запасе ресурсы. Он приказал ликторам раздеть этого человека, главного судью, да будет вам известно, важного города, и посадить его, обнаженного, верхом на одну из конных статуй, украшавших рыночную площадь. Стояла зима; погода была пронизывающе холодной, с проливным дождем. Боль, вызванная тем, что обнаженные конечности соприкасались с бронзой статуи, была очень сильной. Его страдания были настолько ужасны, что его соотечественники не могли вынести их зрелища. Они с громкими криками обратились к сенату и вынудили его проголосовать за передачу желанной статуи губернатору. Так Веррес получил свой Меркурий.

У нас есть любопытная фотография этого человека, путешествующего из города в город в поисках сокровищ искусства. "Как только наступала весна — а он знал, что это была весна не по восходу какого-либо созвездия или по дуновению какого-либо ветра, а просто потому, что он видел розы, — тогда он действительно оживлялся. Он был таким выносливым, таким неутомимым, что никто никогда не видел его верхом на лошади. Нет — его несли на носилках восемь носильщиков. Его подушка была из тончайшего мальтийского льна и утыкана розами. На голове у него был один венок из роз, а на шее — другой, сделанный из тончайших ниток, из мельчайшей сетки, и этот тоже был полон роз. Его отнесли на этих носилках прямо в его покои, и там он дал свои аудиенции".

Когда весна перешла в лето, даже такие нагрузки оказались для него непосильными. Он не мог даже оставаться в своей официальной резиденции, старом дворце сиракузских царей. Для него было разбито несколько палаток у входа в гавань, чтобы ловить прохладный бриз с моря. Там он проводил свои дни и ночи, окруженный отрядами самых подлых товарищей, и предоставил провинции самой заботиться о себе.

Такой губернатор вряд ли смог бы уберечь свою провинцию от пиратов, которые, выходя из своих крепостей на киликийском побережье и в других местах, держали прибрежные города Средиземноморья в постоянном страхе. Похоже, он одержал над ними одну-единственную победу. Его флоту посчастливилось наткнуться на пиратский корабль, который был настолько перегружен добычей, что не мог ни убежать, ни защититься. Новость немедленно была доведена до Верреса, который оторвался от своего пиршества, чтобы отдать строгий приказ о том, что никто не должен вмешиваться в добычу. Его отбуксировали в Сиракузы, и он поспешил осмотреть свою добычу. Общим чувством было восхищение тем, что команда безжалостных злодеев была схвачена и вот-вот понесет наказание за свои преступления. У Верреса были гораздо более практичные взгляды. Правосудие могло поступать со старыми и бесполезными, как ей заблагорассудится; молодые и трудоспособные, а также все, кто оказался ремесленниками, были слишком ценны, чтобы от них отказываться. Его секретари, его свита, его сын получили свою долю приза; шестерых, которые оказались певцами, отправили в подарок другу в Рим. Что касается самого пиратского капитана, то никто не знал, что с ним стало. На Сицилии было любимым развлечением наблюдать за страданиями пирата, если правительству посчастливилось поймать такового, в то время как его медленно пытали до смерти. Жители Сиракуз, которым пиратский капитан был слишком хорошо известен, с нетерпением ждали того дня, когда его должны были вывести на мучения. Они вели учет тех,

кого выводили на казнь, и сопоставляли их с численностью экипажа, о которой было легко догадаться по размерам корабля. Верресу пришлось исправлять этот недостаток, насколько он мог. У него хватило наглости заменить заключенных, которых он продал или раздал римским гражданам, которых под различными ложными предложениями он бросил в тюрьму. Самому пиратскому капитану удалось скрыться после выплаты, как считалось, очень крупной суммы денег.

Но Веррес еще не покончил с пиратами. Необходимо было, по крайней мере, продемонстрировать, что он справляется с ними. Там был флот, и флот должен был выйти в море. Командиром был назначен гражданин Сиракуз, который не имел никакой квалификации для выполнения этой задачи, но которого Веррес стремился убрать с дороги. Губернатор обратил на это необычное внимание, выйдя из своей палатки, чтобы посмотреть, как это происходит. Сама его одежда, когда он стоял на берегу, была скандалом для всех зрителей. Его сандалии, пурпурный плащ, туника или нижнее белье, доходившее ему до лодыжек, считались совершенно неподходящими достоинству римского магистрата. Флот, как и следовало ожидать, был возмутительно плохо оснащен. Его люди по большей части существовали, как говорится, только "на бумаге". Там был соответствующий список имен, но только имен. Претор получал из казны жалование этим воображаемым солдатам и морским пехотинцам и переводил его в свой карман. И на кораблях было так же плохо с провизией, как и с экипажами. Пробыв в море менее пяти дней, они вошли в гавань Пахинуса. Экипажи были вынуждены утолить свой голод корнями карликовой пальмы, которая в изобилии росла и действительно растет до сих пор на этом месте. Клеомен тем временем следовал примеру своего покровителя. Он поставил свою палатку на берегу и сидел в ней, выпивая с утра до ночи. Пока он был занят этим, до него дошли вести о приближении пиратского флота. Он был плохо подготовлен к сражению. Его надеждой было завершить укомплектование своих кораблей гарнизоном форта. Но Веррес поступил с фортом так же, как с флотом. Солдаты были такими же воображаемыми, как и моряки. И все же храбрый человек сражался бы. Его собственный корабль был довольно хорошо укомплектован и имел внушительные размеры, вполне способные одолеть легкие суда пиратов; и такая команда, какая там была, рвалась в бой. Но Клеомен был столь же труслив, сколь и некомпетентен. Он приказал поднять мачту своего корабля, поставить паруса, обрезать канат и отчаливать со всей скоростью. Остальной части его флота ничего не оставалось, как последовать его примеру. Пираты бросились в погоню и захватили два корабля, когда те убегали. Клеомен добрался до порта Гелорус, посадил свой корабль на мель и бросил его на произвол судьбы. Его коллеги сделали то же самое. Главарь пиратов нашел их брошенными и сжег. Затем у него хватило смелости войти во внутреннюю гавань Сиракуз, место, в которое, как нам сказали, когда-либо проникал только один вражеский флот, злополучная афинская экспедиция, три с половиной столетия назад. Ярость жителей при виде этого зрелища превысила все границы, и Веррес почувствовал, что жертва должна быть принесена в жертву. Главным виновником был, конечно, он сам. Следующим по степени вины перед ним был Клеомен. Но Клеомен был пощажен по той же скандальной причине, которая привела к его назначению командующим. Другим капитанам, которые действительно могли бы проявить больше мужества, но были сравнительно невиновны, было приказано казнить. Казалось тем более необходимым убрать их, потому что они могли дать неудобные показания относительно неэффективного состояния кораблей.

Жестокость Верреса действительно была столь же заметна, как и его алчность. Подробно говорить об этом, как и о других его пороках, не входило бы в задачу этой книги. Будет достаточно одного наглядного примера. Некий Гавий совершил преступление, каким образом,

мы не знаем, и был заключен в заброшенные каменоломни, которые служили общественной тюрьмой в Сиракузах. От них он ухитрился сбежать и направился в Мессану. К несчастью для себя, он не знал, что Мессана была единственным местом на Сицилии, где было небезопасно выступать против губернатора. Как раз в тот момент, когда он собирался отплыть в Италию, до него дошла жалоба на обращение, которому он подвергся, и он был арестован и доставлен к главному судье города. В тот же день в город случайно приехал Веррес и услышал о случившемся. Он приказал раздеть мужчину и выпороть его на рыночной площади. Гавий заявил, что он был римским гражданином, и представил доказательства своего заявления. Веррес отказался слушать и, разгневанный повторением заявления, фактически приказал распять этого человека. "И установите, - сказал он своим ликторам, - установите крест у пролива. Он говорит, что является римским гражданином и, по крайней мере, сможет увидеть свою родную страну". Из истории святого Павла мы знаем, какой подлинной привилегией и защитой было это гражданство. И Цицерон точно выражает свое мнение по этому поводу в своих знаменитых словах. "Заковывать римского гражданина в кандалы - преступление; наносить ему удары - настоящее злодейство; предавать его смерти - почти отцеубийство; что касается распятия, то для этого нет подходящего слова". И на этот венчающий дерзкий поступок Веррес имел безрассудство отважиться.

Пробыв на своем посту три года, Веррес вернулся в Рим. Жители Мессаны, его единственные друзья на островах, построили для него торговое судно, и он нагрузил его своей добычей. Он вернулся с легким сердцем. Он действительно знал, что сицилийцы объявят ему импичмент. Его проступки были слишком грубыми, слишком дерзкими, чтобы он мог полностью скрыться. Но он был уверен, что в его руках есть средства добиться оправдательного приговора. Люди, которые должны были судить его, были людьми его собственного ордена. Сенаторы все еще сохраняли привилегию, данную им Суллой. Они, и только они, были присяжными, перед которыми рассматривались подобные дела. Многие из этих сенаторов сочувствовали губернатору провинции, обвиненному в вымогательстве и несправедности. Некоторые грабили провинции в прошлом; другие надеялись сделать это в будущем. Многие незначительные люди, которые не могли надеяться получить такое продвижение по службе, были заведомо открыты для взяток. И те, кто пренебрег бы получением денег или был слишком богат, чтобы поддаться их влиянию, не были нечувствительны к очарованию других подарков — прекрасной статуи или великолепной картины, благоразумно подаренных. Некоторые, даже более щепетильные, которые не приняли бы таких подарков для своих собственных залов или садов, были рады иметь такие великолепные украшения для игр, которые они демонстрировали людям. Веррес вернулся, в изобилии снабженный этими средствами обеспечения своей безопасности. Он открыто признал — ибо на самом деле он был столь же откровенен, сколь и беспринципен, — что устроил свои поборы для того, чтобы, оставив себе достаточную сумму, он мог бы с ее помощью завоевать расположение своих судей. Вскоре ему стало очевидно, что ему понадобится эта и любая другая помощь, если он хочет спастись. Сицилийцы пригласили Цицерона выступить в их защиту. Шесть лет назад он в течение года был квестором в одном из подразделений провинции и завоевал заслуженное мнение благодаря своей умеренности и честности. А Цицерон пользовался авторитетом в судах, тем большей властью, что он еще никогда не привлекался к судебной ответственности, но занимался тем, что считалось более почетной задачей - защищать обвиняемых.[2] Веррес заполучил Гортензия. Он тоже был великим оратором; Цицерон выбрал его в качестве образца, которому хотел подражать, и говорит о нем как о великолепном и энергичном ораторе, полном жизни как в дикции, так и в действиях. В то

время, возможно, его репутация была выше, чем усамого Цицерона. Это было нечто - нанять такого могущественного адвоката; было бы еще лучше, если бы можно было придумать, что обвинителем должен быть менее грозный человек. И был шанс придумать это. Некого Цецилия вынудили выступить против Цицерона и потребовать от него судебного преследования покойного губернатора Сицилии. Он тоже был квестором в провинции и поссорился, или сделал вид, что поссорился, с Верресом. Первое, что предстояло обсудить в суде, который, как и наш собственный, состоял из председательствующего судьи и присяжных, был вопрос о том, кто должен был предъявить обвинение - Цицерон или Цецилий, или оба вместе взятые. Цицерон произнес великолепную речь, в которой обосновал свои собственные притязания.

Провинциалы выбрали его; честность его соперника вызывала сомнения, в то время как было совершенно очевидно, что он некомпетентен. Суд вынес решение в его пользу, и ему было предоставлено сто десять дней на сбор доказательств. У Верреса было припасено еще одно устройство. На этот раз член Сената выступил вперед и потребовал привлечь Верреса к ответственности за правонарушения в провинции Ахайя в Греции. Он хотел сто восемь дней только для сбора доказательств. Если бы это утверждение было удовлетворено, то сначала было бы возбуждено второе уголовное дело; конечно, оно не предполагалось быть серьезным и закончилось бы оправдательным приговором. Тем временем все доступное время было бы потрачено, и сицилийское дело пришлось бы отложить до следующего года. На самом деле, именно на отсрочку Веррес возлагал свои надежды. В июле Гортензий был избран консулом на следующий год, и если бы только можно было отложить судебный процесс до его вступления в должность, то опасаться было бы нечего. На улицах Рима Верреса открыто поздравляли с его удачей. "У меня для вас хорошие новости, - воскликнул один из друзей. - выборы состоялись, и вы оправданы". Еще один друг был избран претором и должен был стать новым председательствующим судьей. Консул и претор назначили бы новых присяжных и позаботились бы о том, чтобы они были такими, как хотелось обвиняемому. В то же время новый губернатор Сицилии был бы еще и другом, и он бы благоразумно препятствовал явке свидетелей. Фиктивное судебное преследование ни к чему не привело. Прокурор так и не покинул Италию. Цицерон, с другой стороны, проявил величайшее усердие. В сопровождении своего двоюродного брата Луция он посетил все главные города Сицилии и собрал в них огромную массу свидетельств. На эту работу он потратил всего пятьдесят из отведенных ему ста десяти дней и был готов приступить задолго до того, как его ожидали.

[Примечание 2: Итак, Гораций поздравляет друга с тем, что он "прославленный защитник печального обвиняемого".]

У Верреса оставалась еще одна надежда; и это, как ни странно, проистекало из самого количества и чудовищности его преступлений. Масса улик была настолько велика, что можно было ожидать, что судебный процесс затянется надолго. Если бы его удалось затянуть только до следующего года, когда его друзья будут у власти, он, возможно, все еще надеялся бы сбежать. И действительно, времени оставалось совсем мало. Суд начался пятого августа. В середине месяца Помпей должен был показать несколько игр. Затем предстояли игры под названием "Римские игры", а за ними снова другие, занявшие большую часть трех месяцев - сентябрь, октябрь и ноябрь. Цицерон предвидел эту трудность. Он произнес короткую речь (ее выступление не могло длиться более двух часов), в которой в общих чертах изложил суть дела. Он обратился с настоятельным призывом к присяжным. Они сами были на процессе. Глаза всего мира были устремлены на них. Если бы они не вершили правосудие над таким отъявленным преступником, им бы никогда больше не доверяли. Было бы видно, что сенаторы

не годятся для отправления закона. Сам закон находился на испытании. Жители провинций открыто заявили, что, если Верреса оправдают, закон, по которому их губернаторы могут быть обвинены, лучше отменить. Если бы над ними не висел страх судебного преследования, они удовлетворились бы таким количеством добычи, которое удовлетворило бы их собственные потребности. Им не нужно было бы вымогать еще больше средств для подкупа своих судей. Затем он призвал своих свидетелей. Они были изумительным сборищем. "От подножия горы Тавр, от берегов Черного моря, из многих городов материковой Греции, со многих островов Эгейского моря, из каждого города и рыночной площади Сицилии в Рим стекались депутации. В портиках и на ступенях храмов, в районе Форума, в окружавшей его колоннаде, на крышах домов и на возвышающихся склонах расположились плотные и нетерпеливые толпы обедневших наследников и их опекунов, разорившихся сборщиков налогов и торговцев зерном, отцов, оплакивающих своих детей, уведенных в гарем претора, детей, оплакивающих своих родителей, погибших в темницах претора, греческой знати, чье происхождение восходит к Кекропсу или Эврисфену, или к великим ионическим и римским богам. Миньянские дома и финикийцы, чьи предки были жрецами тирийского Мелькарта или утверждали, что состоят в родстве с зидонийским Джахом".[3] Девять дней ушло на выслушивание этой массы доказательств. Гортензий был совершенно подавлен этим. У него не было возможности проявить свое красноречие или выступить с патетическим призывом к дворянину, угнетенному ненавистью к демократии. После нескольких слабых попыток перекрестного допроса он практически отказался от дела. Сам обвиняемый понимал, что его положение безнадежно. Прежде чем "девять дней" с их ужасным импичментом подошли к концу, он бежал из Рима.

[Сноска 3: Статья в "Словаре классической биографии и мифологии" Уильяма Бодхэма Донна.]

Присяжные вынесли единогласный вердикт о виновности, и заключенный был приговорен к изгнанию и выплате штрафа. Местом ссылки (которое ему, по-видимому, было разрешено выбирать вне определенных пределов) был Марсель. Сумма штрафа нам неизвестна. Этого, конечно, было недостаточно, чтобы разорить его.

Большая часть денег и многие украденные им произведения искусства были оставлены ему. Эти последние, благодаря исключительно справедливому возмездию, в конце концов привели его к краху. После смерти Цицерона Антоний разрешил изгнанникам вернуться. Веррес пришел с ними, вернув свои сокровища искусства, и был предан смерти за то, что они возбудили алчность римских мастеров.

ГЛАВА V.

ВЕЛИКОЕ ДЕЛО РИМА.

В Риме существовали различные суды для лиц, обвиняемых в различных преступлениях. Например, один судья рассматривал обвинения в отравлении; другой - обвинения в убийстве; и, точно так же, как и у нас, у каждого судьи были присяжные, которые выносили свой вердикт на основе заслушанных доказательств. Но этот вердикт был вынесен не всем составом присяжных, как у нас, и выносился только в том случае, если всех можно было склонить к согласию, а большинством. Каждый присяжный написал свое мнение на маленькой деревянной табличке, указав A. (*absolvo*, "Я оправдываю"), если он считал обвиняемого невиновным, K. (*condemno*, "Я

осуждаю"), если он считал его виновным, и N.L. (*non liquet*, "Неясно"), если дело казалось подозрительным, хотя доказательств для вынесения приговора было недостаточно.

В 66 году до нашей эры в Суде по делам о ядах состоялся очень странный судебный процесс. Некий Клуенций был обвинен в том, что он отравил своего отчима Оппианика и различных других лиц. Цицерон, который в тот год был претором (претор был магистратом, следующим по рангу после консула), защищал Клуенция и рассказал всю историю своего клиента.

Клуенций и его отчим оба были уроженцами Ларина, городка в Апулии, где находился знаменитый храм Марса. Спор о собственности на этот храм вызвал открытую ссору между двумя мужчинами, которые действительно были врагами в течение нескольких лет. Оппианик взялся за дело некоторых рабов, которых называли *Слугами Марса*, заявив, что они вовсе не были рабами, а римскими гражданами. Это он сделал, по-видимому, потому, что хотел позлить своих соотечественников, среди которых он был очень непопулярен. Жители Ларинума, которые были очень заинтересованы во всем, что касалось великолепия их храмовых служб, воспротивились этому иску и попросили Клуенция выступить в их защиту. Клуенций согласился. Пока шло дело, Оппианику пришлось в голову избавиться от своего противника с помощью яда. Он нанял агента, и тот передал дело в руки своего вольноотпущенника, некоего Скамандера. Скамандр попытался достичь своей цели, подкупив раба врача, лечившего Клуенция. Врач был бедным греком, и его рабу, вероятно, приходилось тяжело и скудно; но он был честным человеком, и настолько же умным, насколько и честным. Он притворился, что принимает предложение, и договорился о встрече. После этого он рассказал все своему хозяину врачу, а врач повторил это своему пациенту. Клуенций устроил так, что некоторые друзья тайно присутствовали при беседе раба с его искителем. Злодей пришел, и у него изъяли яд и пакет с деньгами, запечатанный печатью его хозяина.

Клуенций, который терпел множество провокаций со стороны мужа своей матери, теперь почувствовал, что его жизнь в опасности, и решил защищаться. Он обвинил Скамандера в попытке отравления. Мужчина был признан виновным. Следующим предстал перед судом покровитель Скамандра (как раньше называли старого господина вольноотпущенников), и с тем же результатом. Последним подвергся нападению Оппианик, главный преступник. Суд над Скамандром предупредил его об опасности, и он приложил все усилия, чтобы добиться оправдания этого человека. Ему удалось заручиться одним голосом, и только одним. И теперь он мог обратиться к тому, кто отдал этот голос, нуждающемуся и беспринципному члену Сената. Он ушел, конечно, с крупной суммой в руках — что-то около пяти тысяч шестисот фунтов наших денег. Этим сенатор — по имени Стайен — должен был подкупить шестнадцать из тридцати двух присяжных. Они должны были получить по триста пятьдесят фунтов за свои голоса, и Стейнус должен был получить столько же за свой собственный голос (который дал бы большинство), и еще кое-что за свои хлопоты. Стейну пришла в голову счастливая идея присвоить все целиком, и ему это удалось таким образом. Он обратился к коллеге-присяжному, которого знал таким же беспринципным, как и он сам. "Бульбус, - сказал он, - ты поможешь мне позаботиться о том, чтобы мы не служили нашей стране даром". "Ты можешь рассчитывать на меня", - сказал мужчина. Стейнус продолжал: "Обвиняемый пообещал триста пятьдесят фунтов каждому присяжному, который проголосует "Невиновен". Вы знаете, кто возьмет деньги. Забери их и приходи снова ко мне". Девять дней спустя Бульб с сияющим лицом явился к Стайену. "Я получил шестнадцать по известному вам делу; а теперь, где деньги?" "Он обманул меня, - ответил другой. - денег не будет. Что касается меня, я, безусловно, проголосую "Виновен".

Судебный процесс подошел к концу, и должен был быть вынесен вердикт. Обвиняемый утверждал, что это должно быть передано из уст в уста, поскольку ему не терпелось узнать, кто заработал их деньги. Первыми проголосовали Стайен и Бульб. Ко всеобщему удивлению, они проголосовали "Виновен". Также распространились слухи о нечестной игре. Эти два обстоятельства заставили некоторых наиболее уважаемых присяжных поколебаться. В итоге *пять* проголосовали за оправдательный приговор, *десять* сказали "Не доказано", а семнадцать - "Виновны". Оппианик не пережил ничего худшего, чем изгнание, изгнание, которое не мешало ему жить в Италии и даже по соседству с Римом. Римляне, хотя и проливали кровь рекой в своих гражданских распрях, были на редкость снисходительны к наказаниям. Вскоре после этого он умер.

Его вдова увидела в его смерти возможность удовлетворить противоестественную ненависть, которую она давно испытывала к своему сыну Клуентиусу. Она обвинит его в отравлении отчима. Ее первая попытка полностью провалилась. Она подвергла пыткам трех рабов, один из которых был ее собственным, другой принадлежал младшему Оппианику, третий принадлежал врачу, который лечил покойного во время его последней болезни. Но жестокость и пытки не привели к признанию вины мужчин. В конце концов друзья, которых она пригласила присутствовать на допросе, вынудили ее отказаться. Три года спустя она возобновила попытку. Она снискала расположение одного из трех замученных рабов и назначила его врачом в Ларинуме. Мужчина совершил дерзкое ограбление в доме своей любовницы, взломав сундук и забрав из него некоторое количество серебряных монет и пять фунтов золота весом. В то же время он убил двух своих товарищей-рабов и выбросил их тела в пруд с рыбой. Подозрение пало на пропавших рабов. Но когда сундук подвергли тщательному осмотру, оказалось, что отверстие было очень любопытного вида. Друг вспомнил, что недавно он увидел среди разных предметов на аукционе циркулярную пилу, которая могла бы проделать именно такое отверстие. Оказалось, что эту пилу купил врач. Теперь ему было предъявлено обвинение в преступлении. После этого молодой парень, который был его сообщником, выступил вперед и рассказал историю. Тела были найдены в пруду с рыбой. Виновного раба пытали. Он признался в содеянном, и он также признался, заявила его любовница, что он дал яд Оппианику по просьбе Клуенция. Возможности для дальнейшего расследования предоставлено не было. Сделав признание, мужчина был немедленно казнен. Под сильным давлением своей мачехи младший Оппианик взялся за это дело и предъявил Клуентиусу обвинение в убийстве. Доказательства были очень слабыми, почти ничего, кроме очень сомнительного признания, о котором говорилось выше; но, с другой стороны, существовало очень сильное предубеждение против обвиняемого. Было подозрение — возможно, больше, чем просто подозрение, — в нечестной игре на процессе, который закончился осуждением Оппианика. По словам мужчин, ответчик, возможно, и пытался подкупить присяжных, но истец, безусловно, сделал это. Было бы прекрасно, если бы его наказали, даже признав виновным в преступлении, которого он не совершал.

Защищая своего клиента, Цицерон в такой же степени опирался на ужасный список преступлений, которые были доказаны против мертвого Оппианика, как и на что-либо другое. Это было действительно ужасно, о чем свидетельствуют несколько образцов из каталога.

Среди самых богатых жителей Ларинума была некая Динея, бездетная вдова. Она потеряла своего старшего сына во время Социальной войны (война продолжалась между Римом и ее итальянскими союзниками) и видела, как двое других умерли от болезней. Ее единственная

дочь, которая была замужем за Оппиаником, тоже умерла. Теперь пришло неожиданное известие, что ее старший сын все еще жив. Он был продан в рабство и все еще работал в бригаде чернорабочих на ферме в Галлии. Бедная женщина созвала своих родственников и умоляла их взяться за дело по его возвращению. В то же время она составила завещание, завещав большую часть своего имущества сыну своей дочери, младшему Оппианику, но оставив пропавшему мужчине наследство в размере от трех до четырех тысяч фунтов. Старший Оппианик не был расположен к тому, чтобы из семьи ушла такая крупная сумма. Диней заболела, и он привел к ней своего врача. Пациентка отказалась от услуг этого человека; по ее словам, они были смертельны для всех ее родственников. Затем Оппианик ухитрился представить ей странствующего шарлатана из Анконы. Он подкупил этого человека примерно семнадцатью фунтами наших денег, чтобы тот ввел смертельно опасное снадобье. Гонорар был большим, и от парня ожидали, что он приложит некоторые усилия к ведению бизнеса; но он спешил; ему предстояло посетить много рынков; и он дал разовую дозу, которую не было необходимости повторять.

Тем временем родственники Дины послали двух агентов навести справки о пропавшем сыне. Но Оппианик заранее побывал у них. Он подкупил человека, который принес первую весть, узнал, где его можно найти, и приказал убить его. Агенты написали своим работодателям в Ларинум, сообщив, что объект их поисков не может быть найден, поскольку Оппианик, несомненно, подменил человека, от которого следовало получить информацию. Это письмо вызвало сильное негодование в Ларинуме; и один из членов семьи публично заявил на рыночной площади, что он должен привлечь Оппианика (который случайно присутствовал при этом) к ответственности, если будет установлено, что пропавшему человеку был причинен какой-либо вред. Через несколько дней агенты вернулись сами. Они нашли этого человека, но он был мертв. Оппианик не осмелился противостоять взрыву ярости, который вызвало это известие, и бежал из Ларина. Но он еще не исчерпал свои ресурсы. Гражданская война между Суллой и партией Мария (поскольку сам Марий к тому времени был мертв) бушевала вовсю, и Оппианик бежал в лагерь Метелла Пия, одного из помощников Суллы. Там он представлял себя человеком, пострадавшим за партию. Метелл сам участвовал в Социальной войне и сражался против стороны, к которой принадлежал убитый пленник. Поэтому было легко убедить его, что этот человек заслужил свою участь и что его друзья были недостойными людьми и опасными для государства. Оппианик вернулся в Ларинум с вооруженным отрядом, сместил должностных лиц, выбранных горожанами, предъявил мандат Суллы на назначение его самого и трех его приближенных на их место, а также на казнь четырех человек, которые были ему особенно неприятны. Этими четырьмя были человек, публично угрожавший ему, двое его родственников и одно из орудий его собственных злодеяний, которого он теперь считал удобным убрать с дороги.

Рассказ о преступлениях Оппианика, из которого была приведена лишь малая часть, был закончен, и Цицерон рассказал об истинных обстоятельствах его смерти. После изгнания он некоторое время скитался, избегаемый всеми своими знакомыми. Затем он поселился на ферме в Фалернской провинции. Оттуда его выгнала ссора с фермером, и он поселился в маленькой квартирке, которую снял за стенами Рима. Вскоре после этого он упал с лошади и получил тяжелую травму в бок. Его здоровье уже было слабым, поднялась лихорадка, его отнесли в город, и он умер после нескольких дней болезни.

Помимо обвинения в отравлении Оппианика, были и другие, с которыми следовало кратко разобраться. Следует упомянуть только об одном из них. Говорили, что Клуенций подсыпал яд в

чашу с медовым вином, намереваясь дать его младшему Оппианику. Поводом, как это было разрешено, послужил свадебный завтрак молодого человека, на который, по обычаю Ларинума, была приглашена большая компания. Прокурор подтвердил, что один из друзей жениха перехватил чашу по пути, выпил ее содержимое и мгновенно испустил дух. Ответ на этот вопрос был исчерпывающим. Молодой человек испустил дух не мгновенно. Напротив, он умер после нескольких дней болезни, и у этой болезни была другая причина. Когда он пришел к завтраку, у него уже было слабоездоровье, и он усугубил свое состояние тем, что слишком много ел и пил, "как, - говорит оратор, - обычно поступают молодые люди". Затем он вызвал свидетеля, которому никто не мог возразить, - отца покойного. "Малейшее подозрение в виновности Клуентиуса привлекло бы его в качестве свидетеля против него. Вместо этого он оказывает ему свою поддержку. Прочтите, - сказал Цицерон клерку, - прочтите его показания. А вы, сэр, - обратился он к отцу, - встаньте ненадолго, если вам угодно, и перенесите боль, выслушав то, что я вынужден рассказать. Я больше ничего не скажу об этом деле. Ваше поведение достойно восхищения; вы не позволили бы своему собственному горю вовлечь невинного человека в прискорбное бедствие по ложному обвинению".

Затем последовал рассказ о жестоком и постыдном заговоре, который мать замыслила против своего сына. Ничто не могло удовлетворить эту злую женщину, кроме того, что она должна была сама отправиться в Рим, чтобы оказать посильную помощь обвинению. "И что это было за путешествие!" - воскликнул Цицерон. "Я живу недалеко от некоторых городов, мимо которых она проезжала, и я слышал от многих свидетелей, что произошло. Огромные толпы людей пришли посмотреть на нее. Мужчины, да и женщины тоже, громко стонали, когда она проходила мимо. Стонали от чего? Да ведь из далекого города Ларинум, с самого берега Верхнего моря, приближалась женщина с большой свитой и тяжелыми мешками с деньгами, приближалась с единственной целью - погубить сына, которого судили за его жизнь. Во всей этой толпе не было человека, который не думал бы, что каждое место, на которое она ступала, нуждалось в очищении, что сама земля, которая является матерью всех нас, была осквернена присутствием такой отвратительно злой матери. Не было ни одного города, в котором ей разрешили бы остановиться; не было ни одной гостиницы из всего множества на этой дороге, где хозяин не избегал бы заразы ее присутствия. И действительно, она предпочитала доверить себя одиночеству и темноте, а не какому-либо городу или гостинице. А теперь, - сказал Цицерон, поворачиваясь к женщине, которая, вероятно, заседала в суде, - неужели она думает, что мы все не знаем о ее планах, интригах, ее целях изо дня в день? На самом деле мы точно знаем, к кому она ходила, кому обещала деньги, чью честность она пыталась подкупить своими взятками. Более того, мы слышали все о вещах, которые она считает тайной, о ее ночных жертвоприношениях, о ее нечестивых молитвах, о ее отвратительных клятвах".

Затем он обратился к сыну, которого, по его мнению, присяжные считали столь же замечательным, сколь мерзкой была его мать. Он, безусловно, собрал множество свидетелей своего характера. Из Ларина каждый взрослый мужчина, у которого хватило сил совершить путешествие, приехал в Рим, чтобы поддержать своего земляка. Город был оставлен на попечение женщин и детей. С этими свидетелями прибыла депутация сенаторов, привезшая резолюцию местного сената, полную восхвалений обвиняемого. Цицерон повернулся к депутации и попросил их встать во время чтения резолюции. Они встали и разразились слезами, которые действительно гораздо чаще встречаются среди жителей юга, чем среди нас, и которых никто не видит причин стыдиться. "Вы видите эти слезы, джентльмены", - крикнул оратор присяжным. "Вы можете убедиться, увидев их, что каждый член сената тоже плакал,

когда они принимали эту резолюцию". И не только Ларинум, но и все главные самнитские города прислали своих самых уважаемых граждан дать показания в пользу Клуенция. "Я думаю, - сказал Цицерон, - мало кого я люблю так сильно, как его любят все эти друзья".

Клуенций был оправдан. Говорят, что Цицерон впоследствии хвастался, что он ослепил присяжных. Вероятно, его клиент подкупил присяжных на процессе над своим отчимом. Это, безусловно, было распространенным мнением, которое действительно зашло так далеко, что установило точную сумму, которую он заплатил. "Сколько миль от вашей фермы до Рима?" был задан вопрос одному из свидетелей на судебном процессе, связанном с этим делом. "Меньше пятидесяти трех", - ответил он. "Именно та сумма", - раздался общий возглас зрителей. Смысл шутки в том, что одно и то же слово в латыни обозначало *тысячу* шагов, что составляло милу, и *тысячу* монет, которыми обычно исчислялись денежные суммы. Оппианик заплатил сорок тысяч за оправдательный приговор, а Клуенций превзошел его на пятьдесят тысяч ("менее пятидесяти трех"), чтобы добиться обвинительного приговора. Но что бы мы ни думали о виновности или невиновности Клуенция, не может быть никаких сомнений в том, что дело, в котором Цицерон защищал его, было одним из самых интересных, когда-либо рассматривавшихся в Риме.

ГЛАВА VI.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ.

Римлянин даже среднего достатка — ибо Цицерон был далеко не одним из богатейших людей своего времени — обычно владел большим количеством загородных домов, чем принадлежит даже самому богатому из английских аристократов. По крайней мере, один такой дом Цицерон унаследовал от своего отца. Это было примерно в трех милях от Арпина, маленького городка в холмистой местности Сабинян, который был вошедшим в поговорку местом обитания умеренной и бережливой расы и который Цицерон описывает в гомеровских выражениях как "Грубая, но добрая нянька мужчин".

Во времена его деда это был простой фермерский дом, из тех, что соответствовали более простым нравам прежних дней — дней, когда консулы и диктаторы были довольны, что срок их полномочий закончился, и могли сами вспахивать свои поля и собирать урожай. Цицерон родился в его стенах, поскольку примитивный уклад семейной жизни все еще преобладал, и женатый сын продолжал жить в доме своего отца. После смерти старика, когда старомодная бережливость уступила место более роскошному образу жизни, дом был значительно расширен, одной из пристроек стала библиотека, комната, в которой дедушка, считавший, что его современники подобны сирийским рабам, "чем больше они знают греческого, тем большими негодями они были", никогда не испытывал нужды; но в которой его сын, особенно в последние дни своей жизни, проводил большую часть своего времени. Сад и прилегающая территория были особенно восхитительны, самым очаровательным местом из всех был остров, образованный небольшим ручьем Фибренус. Описание, вложенное в уста Квинта, младшего сына хозяина дома, так описывает это место: "Я никогда не видел более приятного места. Фибрен здесь делит свой ручей на два равных по величине и, таким образом, омывает оба берега. Быстро протекая, он снова вливается в свои воды, пройдя ровно столько, сколько необходимо для наших литературных дискуссий. Сделав это, он спешит дальше, как будто предоставление такого места было его единственной обязанностью, чтобы попасть в Лирис.

Затем, подобно человеку, принятому в благородную семью, он теряет свое собственное, более темное имя. Лирис, который он действительно делает, намного холоднее. Более холодного ручья, чем этот, я никогда не касался, хотя видел много. Я едва могу заставить себя окунуть в это ногу. Ты помнишь, как Платон заставляет Сократа окунуть ногу в Илисс. Аттик тоже громогласен в своих похвалах. "Вы знаете, я впервые приезжаю сюда, и я чувствую, что не могу достаточно восхищаться этим. Что же касается великолепных вилл, которые часто видишь, с их мраморными тротуарами и позолоченными потолками, то я их презираю. А их водные потоки, которым они дают прекрасные названия Нил или Еврип, кто бы не посмеялся над ними, увидев ваши ручьи? Когда мы хотим покоя и наслаждения для ума, мы должны прийти именно к природе. Когда-то я часто удивлялся — ведь я никогда не думал, что в этом месте есть что-то, кроме скал и холмов, - что ты получаешь такое удовольствие от этого места. Но теперь я удивляюсь, что, находясь вдали от Рима, ты стремишься быть где угодно, только не здесь. "Что ж, - ответил Цицерон, - когда я уезжаю из города на несколько дней кряду, я предпочитаю это место; но это мне редко удается. И действительно, я люблю его не только потому, что это такой приятный, такой полезный для здоровья курорт, но и потому, что это моя родина, моя и моего отца тоже, и потому, что я живу здесь среди тех, кто умер до меня".

Другие дома он покупал в разные периоды своей жизни, насколько позволяли его средства. Положение одного из них, в Формиях близ мыса Каиста, было ему особенно приятно, потому что он любил море; оно забавляло его, как, по его словам, забавляло благородных друзей, Сципиона и Лелия, до него, подбирать камешки на берегу. Но эта часть побережья была фешенебельным курортом. Случайные гости были обычным явлением; и было много соседей, некоторые из которых были слишком щедры в своих визитах. Однажды он пишет Аттику со своей виллы в Формиане: "Что касается композиции, к которой ты меня постоянно подталкиваешь, то это абсолютно невозможно. У меня здесь публичный зал, а не загородный дом, в Формиане такое скопление людей. О большинстве из них ничего не нужно говорить. После десяти часов они перестают меня беспокоить. Но мой ближайший сосед - Аррий. Этот человек абсолютно уверен, что живет со мной, говорит, что отказался от идеи поехать в Рим, потому что хочет поговорить со мной о философии. И потом, с другой стороны, есть Себос, друг Катула, как ты, наверное, помнишь. Что же мне теперь делать? Я бы, конечно, поехал в Арпинум, если бы не ожидал увидеть тебя здесь". В следующем письме он повторяет жалобы: "Как раз в тот момент, когда я сажусь писать, приходит наш друг Себос. У меня не было времени издать внутренний стон, когда Аррий сказал: "Доброе утро". И это уезжает из Рима! Я, конечно, отправлюсь в

"Мои родные холмы, колыбель моей расы".

И все же, несомненно, в этом была какая-то прелесть, сладость быть знаменитым и востребованным, даже несмотря на все эти неприятности. Он никогда не переставал время от времени наносить визиты в Формию. Это был любимый курорт его семьи; и именно там он провел последние дни своей жизни.

Но больше всего он любил загородный дом в Тускулуме, латинском городке, расположенном на склоне горы Альгидус, на такой высоте над морем [4], которая могла бы стать заметным холмом в Англии. Здесь жили в более раннем поколении Красс, оратор, по образцу которого молодой Цицерон сформировал свое собственное красноречие; и Катул, разделивший с Марием славу спасения Рима от варваров; и Цезарь, старший родственник диктатора. Собственный дом Цицерона принадлежал Сулле, и его стены были украшены фресками, изображающими победы

этого великого солдата. Соседями у него были богатый Лукулл и еще более богатый Красс, один из троих, правивших Римом, когда он больше не мог управлять сам собой, и, по крайней мере, какое-то время, Квинт, его брат. "Это, - пишет он своему другу Аттикусу, - единственное место, где я могу немного отдохнуть от всех своих трудов и забот".

[Сноска 4: 2200 футов.]

Хотя Цицерон часто говорит об этом своем доме, он нигде не описывает его общее устройство. Вероятно, мы не сильно ошибемся, если позаимствуем свое представление об этом из письма, в котором Плиний младший рассказывает другу об одном из своих загородных поместий.

"Двор перед домом простой, но без подлости. Отсюда вы попадаете в небольшое, но жизнерадостное помещение, окруженное колоннадами в форме буквы D. Между ними есть проход во внутренний крытый дворик, а из него снова в красивый холл, со всех сторон которого расположены одинаково большие складные двери или окна. По левую руку от этого зала находится большая гостиная, а за ней вторая, меньшего размера, с одним окном, выходящим на восходящее, а другим - на заходящее солнце. К ней примыкает еще одна комната полукруглой формы, окна которой расположены таким образом, чтобы в течение всего дня попадало солнце: по стенам расположены книжные шкафы с собраниями авторов, которых нельзя перечитывать слишком часто. Из этого выходит спальня, которую можно согреть горячим воздухом. Остальная часть этой части дома предназначена для использования рабами и вольноотпущенниками, но большинство комнат достаточно хороши, чтобы разместить в них моих гостей. В противоположном крыле находится самая элегантная спальня, еще одна, которую можно использовать и как спальню, и как гостиную, и третья, в которой есть отдельная прихожая, такая высокая, что летом здесь прохладно, а стены такие толстые, что зимой тепло. Затем идет ванна с ее охлаждающей комнатой, горячей комнатой и гардеробной. А недалеко от этого снова теннисный корт, который согревается послеполуденным солнцем, и башня, с которой открывается обширный вид на окружающую местность. Затем есть зернохранилище и кладовая.

Вероятно, это была вилла побольше, чем у Цицерона, хотя сама по себе она была меньше другой, описанной Плинием. Мы должны учитывать рост богатства и роскоши, который принесли полтора столетия. Тем не менее, мы можем получить из этого некоторое представление о загородном доме Цицерона, причем одно сходство, безусловно, заключается в том, что в нем был всего один этаж.

То, что Цицерон говорит о своем "Тускулане", в основном относится к его обстановке и убранству, и это можно найти по большей части в его письмах к Аттику. Аттик много лет прожил в Афинах и поэтому имел возможность покупать произведения искусства и книги, которые были недоступны занятому юристу и государственному деятелю Рима. Но помещение, которое в глазах Цицерона имело особое значение, было тем, которое мы можем назвать лекционным залом, и он обрадовался, когда его другу удалось раздобыть для него соответствующие украшения. "Ваша *Герматена*, - пишет он (*Герматена* представляла собой составную статую или, скорее, двойной бюст на пьедестале с головами Гермеса и Афины, римских Меркурия и Минервы), - мне очень нравится. Он стоит так красиво, что весь лекционный зал похож на часовню божества. Я вам очень обязан". Он возвращается к этой теме в другом письме. Аттик, вероятно, купил для него другой бюст такого же типа. "То, что вы пишете о *Герматене*, мне очень нравится. Это самое подходящее украшение для моего собственного маленького "места

обучения". Гермес уместен везде, а Минерва - особая эмблема лекционного зала. Я был бы рад, если бы вы, как вы предлагаете, нашли для этого места как можно больше украшений того же рода. Что касается статуэток, которые вы прислали мне раньше, я их не видел. Они у меня дома в Формиях, куда я как раз сейчас подумываю отправиться. Я перевезу их все к себе в Тускулум. Если когда-нибудь у меня окажется более чем достаточно денег для этого, я начну украшать другое. Прошу вас, сохраните свои книги. Не теряйте надежды, что я смогу сделать их своими. Если я только смогу это сделать, я буду богаче Красса". И еще: "Если ты сможешь найти какие-нибудь украшения для лекционного зала, не забудь сохранить их. Мой дом в Тускулуме вызывает у меня такое восхищение, что, только оказавшись там, я, кажется, становлюсь доволен собой". В другом письме мы слышим что-то о ценах. Он заплатил около ста восьмидесяти фунтов за несколько статуй из Мегары, которые приобрел для него его друг. В то же время он заранее благодарит его за несколько бюстов Гермеса, пьедесталы которых были сделаны из мрамора из Пентелика, а головы - из бронзы. Они еще не попали под руку, когда он пишет в следующий раз: "Я ищу их, - говорит он, - с большим беспокойством"; и он снова призывает усердствовать в поисках таких вещей. "Вы можете положиться на длину моей сумочки. Это моя особая прихоть". Вскоре после этого Атик нашел статуи другого типа - двойные бюсты Гермеса и Геркулеса, бога силы; и Цицерон срочно требует их для своего лекционного зала. Тем не менее, он не забывает о книгах, на которые он хранит свои мелкие сбережения, свои "маленькие урожаи винограда", как он их называет, — возможно, деньги, полученные от небольшого виноградника, пристроенного к его увеселительным угождам. Что касается книг, то у него дома был достаточный запас, которым он мог пользоваться по своему усмотрению, - великолепная библиотека, собранная Лукуллом. "Когда я был в своем доме в Тускулуме, - пишет он в одном из своих трактатов, - и мне захотелось воспользоваться некоторыми книгами из библиотеки молодого Лукулла, я отправился на его виллу, чтобы взять их сам, по своему обыкновению. Придя туда, я обнаружил Катона (Катон был дядей и опекуном мальчика), о котором, однако, тогда я ничего не знал, сидящим в библиотеке, полностью окруженным книгами стоиков по философии".

Когда Цицерон был изгнан, дом в Тускуле разделил судьбу остальной его собственности. Здание было разрушено. Мебель, а вместе с ней книги и произведения искусства, которые так старательно собирались, были украдены или проданы. Цицерон думал, и, вероятно, был прав, думая, что Сенат поступил с ним очень подло, когда проголосовал за него сумму от четырех до пяти тысяч фунтов стерлингов в качестве компенсации за его потери в этом отношении. За его дом в Формии ему заплатили вдвое меньше. Мы слышали, что он перестраивал дом. Он объявил о контракте, сообщает он нам в том же письме, в котором жалуется на недостаточную компенсацию. Кое-что из своих ценностей он вернул, но мы больше не слышим о коллекционировании. Он пал духом из-за этого, как это бывает с людьми, когда с ними случается такое несчастье. Он тоже становился старше, и времена становились все более беспокойными. Возможно, денег у него было не так много, как раньше. Но у нас есть один благородный памятник этому человеку, связанный со вторым из двух его домов в Тускулуме. Он делает его местом действия "Бесед в Тускулуме", одного из последних трактатов, в написании которого он находил утешение в личных и общественных печалях. Он описывает себя прибегающим днем в свою "Академию" и там обсуждающим, как мудрый человек может подняться над страхом смерти, над болью и печалью, как он может управлять своими страстями и находить удовлетворение только в добродетели. "Если кажется, - говорит он, подводя итог первому из этих обсуждений, - что это явное повеление Бога о том, что мы должны уйти из этой жизни [кажется, он говорит о самоубийстве, которое римлянину при определенных

обстоятельствах казалось похвальным поступком], давайте повинемся с радостью и благодарностью. Давайте подумаем о том, что нас освобождают из тюрьмы и освобождают от цепей, чтобы мы могли либо найти дорогу обратно в дом, который одновременно является вечным и явно нашим собственным, либо, по крайней мере, навсегда избавиться от всех ощущений и неприятностей. Если такое повеление не приходит к нам, давайте, по крайней мере, будем лелеять такой настрой, чтобы в этот день, столь ужасный для других, мы могли смотреть на него как на благословение для нас; и давайте не будем смотреть ни на что, что предписано для нас вечными богами или природой, нашей общей матерью, как на зло. Мы были созданы не по какой-то случайности. Вне всякого сомнения, существует некая могущественная Сила, которая наблюдает за человеческой расой, которая не производит на свет существа, чей удел - после исчерпания всех других бед впасть, наконец, в нескончаемое горе смерти. Лучше давайте верить, что в смерти для нас приготовлено убежище. Я хотел бы, чтобы мы могли плыть туда под широко распушенными парусами; если нет, если встречные ветры отнесут нас назад, все равно мы должны достичь, хотя и может быть несколько поздно, гавани, где мы могли бы быть. А что касается судьбы, которая является судьбой всех, то как она может быть несчастьем одного?"

ГЛАВА VII.

ВЕЛИКИЙ ЗАГОВОР.

Сергий Катилина принадлежал к древнему роду, впадшему в нищету. В злые дни Суллы, когда знать вернула себе утраченную власть, грабила и убивала своих противников, он показал себя таким же жестоким и порочным, как любой из его собратьев. Как и многие другие, он удовлетворял свои собственные обиды под предлогом служения своей партии, а на самом деле собственноручно убил своего шурина. Эти злодеяния и его личный характер, который был наихудшим, не помешали ему занять высокие посты в государстве. Он был назначен сначала эдилом, затем претором, затем губернатором Африки, провинции, охватывающей регион, который сейчас носит названия Триполи и Туниса. В конце года своего правления он вернулся в Рим, намереваясь стать кандидатом на пост консула. В этом его постигло большое разочарование. Ему было предъявлено обвинение в ненадлежащем управлении своей провинцией, и поскольку закон не позволял никому, над кем висело такое обвинение, баллотироваться на какую-либо государственную должность, он был вынужден уйти в отставку. Но вскоре он нашел, или вообразил, что нашел, возможность отомстить. Два новых консула были признаны виновными во взяточничестве и были вынуждены уйти в отставку. Один из них, разгневанный своим позором, объединился с Катилиной. Был составлен заговор, в участии в котором впоследствии с большим или меньшим основанием подозревалось немало влиятельных граждан. Было условлено, что консулы будут убиты в первый день нового года, то есть в день, когда они должны были вступить в свои полномочия. Но разнесся слух о какой-то надвигающейся опасности; в назначенный день новые консулы явились с достаточным эскортом, и заговорщики согласились отложить исполнение своего плана до начала февраля. На этот раз тайна была сохранена лучше, но нетерпение Катилины помешало осуществлению заговора. Было условлено, что он займет свое место перед зданием сената и подаст наемной банде убийц сигнал начинать. Этот сигнал он подал до того, как все были в сборе. У тех немногих, кто присутствовал, не хватило смелости действовать, и возможность была упущена.

Судебный процесс по обвинению в неправомерном управлении закончился оправдательным приговором, купленным, как говорили, крупными взятками, данными присяжным и даже обвинителю, некоему Клодию, о котором мы услышим снова и обнаружим, что он был ни на йоту не лучше самого Катилины. Второй судебный процесс, на этот раз за преступления, совершенные во времена Суллы, закончился таким же образом. Теперь Катилина решил действовать по-другому. Он взял бы на себя роль друга народа. У него было преимущество в том, что он был дворянином, потому что люди думали, что он честен, когда видели, как он таким образом восстает против своего собственного порядка и, как казалось, против своих собственных интересов. И действительно, было много такого, что он мог сказать, и сказать совершенно искренне, против знати. Они были коррумпированы и расточительны до неприличия. Они заседали в суде присяжных и выносили ложные вердикты за деньги. Они отправились управлять провинциями, показали себя ужасно жестокими и жадными, а затем вернулись домой, чтобы быть оправданными людьми, которые сами делали или надеялись сделать то же самое. Люди слушали Катилину, когда он выступал против подобных действий, не помня, что он сам был таким же плохим. У него тоже была репутация сильного и мужественного человека, которая, вероятно, сделала его популярным. Он никогда не был солдатом, но был известен своей храбростью и обладал замечательной способностью переносить холод, голод и лишения любого рода. В силу благосклонности, которую он таким образом завоевал, он снова баллотировался на пост консула. В ожидании избрания он собрал вокруг себя несколько человек, таких же неудачливых и недовольных, как и он сам, и раскрыл свои планы. Все долги должны были быть погашены, богатые граждане преданы смерти, а их имущество разделено. Была надежда, что консулы на родине и по крайней мере две армии в провинциях поддержат это движение. Первая неудача заключалась в том, что Катилина не был избран консулом, Цицерон был избран единогласно, а Антоний, имевший небольшое большинство голосов против Катилины, стал его коллегой. Взбешенный своим отсутствием успеха, последний теперь зашел еще дальше, чем когда-либо. Он действительно собрал войска в различных частях Италии, но особенно в Этрурии, которой командовал некто Манлий, старый офицер армии Суллы. Затем он снова стал кандидатом на пост консула, решив сначала избавиться от Цицерона, который, как он обнаружил, встречался с ним и препятствовал ему на каждом шагу. К счастью для Рима, эти планы были раскрыты благодаря слабости одного из его сподвижников. Этот человек рассказал тайну даме, в которую был влюблен, и дама, встревоженная смелостью и порочностью этого плана, сообщила все, что знала, Цицерону.

Не подозревая, что его таким образом предали, Катилина приступил к избавлению от своего великого противника. Задача не казалась сложной. Часы как для работы, так и для развлечений в Риме были, как нам показалось, неудобно ранними. Таким образом, римский аристократ или государственный деятель получил бы в первые часы утра церемонные или дружеские приветствия, которые у нас принято наносить во второй половине дня. Иногда случалось, что ранние посетители заставляли великого человека еще не вставшим. В таких случаях он часто принимал их в постели. Вероятно, это была привычка Цицерона, вежливого, доброго человека, всегда стремившегося быть популярным и, следовательно, легкодоступным. На эту привычку рассчитывали заговорщики. Двое из них, один рыцарь, другой сенатор, появились у его дверей вскоре после восхода солнца седьмого ноября. Они рассчитывали найти его не в большом зале его особняка, окруженного друзьями и иждивенцами, а в его спальне. Но консул был предупрежден об их приезде, и им было отказано во въезде. На следующий день он созвал

заседание Сената в храме Юпитера Стайера, который считался самым безопасным местом, где они могли собраться.

На это собрание отважился явиться сам Катилина, член парламента, по праву занимавший высокие государственные посты. Высокий, крепкий мужчина, явно обладавший огромной силой тела и ума, но с лицом бледным и истощенным избытком, с глазами изможденными и налитыми кровью, он сидел один посреди переполненного людьми дома. Никто не поздоровался с ним, когда он вошел, и когда он занял свое место на скамьях, отведенных сенаторам, занимавшим должность консула, все отшатнулось от него. Затем на его место поднялся Цицерон. Он повернулся и обратился к своему противнику. "Как долго, Катилина, - воскликнул он, - ты будешь злоупотреблять нашим терпением?" Как он посмел прийти на эту встречу? Разве ему было недостаточно знать, что весь город был настороже против него; что его коллеги-сенаторы шарахались от него, как люди шарахаются от чумы? Если он все еще был жив, то обязан этим снисхождению тех, против кого он замышлял заговор; и это снисхождение продлится так долго, и только так долго, чтобы позволить каждому убедиться в его вине. В настоящее время ему было позволено жить, но жить под охраной, под наблюдением и неспособным на зло. Затем говоривший рассказал все подробности заговора. Он знал не только все, что намеревались сделать сообщники, но и те самые дни, которые были назначены для этого. Ошеломленный этим знанием о своих планах, Катилина почти не пытался защищаться. Он сказал смиренным голосом: "Не думайте, отцы, что я, римский вельможа, я, который сделал сам, чьи предки сделали много хорошего этому городу, хочу видеть его в руинах, в то время как этот консул, простой жилец в этом месте, хотел бы спасти его". Он хотел сказать больше, но все собрание разразилось криками: "Предатель! Предатель!" - и заглушил свой голос. "Мои враги, - закричал он, - ведут меня к гибели. Но смотрите! если вы подожжете мой дом, я потушу его всеобщими разрушениями". И он выбежал из Сената.

Он видел, что в Риме ничего нельзя было сделать; каждый пункт был защищен от него. Поздно той же ночью он покинул город, поручив управление делами Цетегу и Лентулу и пообещав вскоре вернуться с армией за спиной. Остановившись на некоторое время в пути, он написал письма некоторым высокопоставленным сенаторам, в которых заявлял, что ради общественного спокойствия ему следует отказаться от борьбы со своими врагами и спокойно удалиться в Марсель. Что он действительно сделал, так это пробрался в лагерь Манлия, где принял обычное военное командование. Сенат, узнав об этих действиях, объявил его вне закона. Консулы должны были собрать армию; Антоний должен был выступить против врага, а Цицерон - защитить город.

Тем временем заговорщики, оставшиеся в Риме, были заняты. Одно из галльских племен направило депутатов в Капитолий, чтобы добиться возмещения ущерба, на который они жаловались. Эти люди практически ничего не добились. Сенат пренебрег ими. Помощь чиновников можно было купить только большими взятками. Теперь они были по уши в долгах как за свой счет, так и за счет своего государства, и Лентулу пришла в голову мысль воспользоваться их нуждами. Один из его вольноотпущенников, который был торговцем в Галлии, мог говорить на этом языке и знал нескольких депутатов, поэтому по желанию своего покровителя начал с ними переговоры. Они рассказали ему о своих обидах. Они сказали, что не видят выхода из своих трудностей. "Ведите себя как мужчины, - ответил он, - и я укажу вам путь". Затем он рассказал им о существовании заговора, объяснил его цели и подробно рассказал о надеждах на успех. Пока он и его друзья были заняты в Риме, они должны были вернуться в

Галлию и поднять своих соплеменников на восстание. В предложении было что-то заманчивое, и депутаты долго сомневались, стоит ли им его не принимать. В конце концов благоразумие взяло верх. Присоединиться к заговору и взбунтоваться означало бы подвергнуться ужасному риску ради весьма сомнительных преимуществ. С другой стороны, они могли бы быть уверены в скором вознаграждении, рассказав все, что они знали властям. Таков был курс, на который они решились, и они, не теряя времени, отправились к римскому аристократу, который был наследственным "покровителем" их племени. Покровитель, в свою очередь, сообщил об этом Цицерону. Инструкции Цицерона состояли в том, что депутаты должны были притвориться, что согласны с предложениями, которые были им сделаны, и попросить письменное соглашение, которое они могли бы показать своим соотечественникам дома. Было составлено соглашение, подписанное Лентулом и двумя его товарищами по заговору и переданное галлам, которые теперь готовились вернуться в свою страну. Сам Цицерон рассказывает нам в речи, которую он произнес на следующий день на Форуме, историю того, что последовало за этим.

Я вызвал к себе двух преторов, на мужество которых, как я знал, мог положиться, изложил им все дело и изложил свои собственные планы. Когда сгустились сумерки, они незамеченными пробрались к Мальвиеву мосту и расположились со своей свитой (у них было несколько собственных верных последователей, и я послал несколько отборных воинов из моей личной охраны) двумя подразделениями в домах по обе стороны моста. Около двух часов ночи галлы и их многочисленный обоз начали переходить мост. Наши люди бросились на них; с обеих сторон были обнажены мечи; но прежде чем пролилась кровь, на сцене появились преторы, и все стихло. Галлы передали им имевшиеся при них письма с нетронутыми печатями. Их и самих депутатов доставили в мой дом. День уже клонился к рассвету. Я немедленно послал за четырьмя людьми, которые, как я знал, были главными заговорщиками. Они пришли, ничего не подозревая, и последним явился Лентул, который допоздна не спал накануне написания писем. Некоторые уважаемые люди, собравшиеся в моем доме, пожелали, чтобы я распечатал письма, прежде чем передать их Сенату. Если их содержание окажется не таким, как я подозревал, меня следует обвинить в том, что я напрасно доставил столько хлопот. Я отказался в столь важном деле действовать под свою ответственность. Я был уверен, что никто не обвинил бы меня в излишней осторожности, когда на карту была поставлена безопасность Рима. Я созвал заседание Сената и позаботился о том, чтобы присутствовало очень много людей. Тем временем, по предложению галлов, я послал претора в дом Цетега, чтобы захватить все оружие, которое он смог найти. Он привез с собой огромное количество кинжалов и мечей.

Поскольку Сенат был уже в сборе, я привел Вултурция, одного из заговорщиков, в Палату представителей, пообещал ему публичное помилование и велел ему рассказать все, что он знал, ничего не опасаясь. Как только этот человек смог говорить, потому что был ужасно напуган, он сказал: "Я вез письмо и послание от Лентула Катилине. Катилине было приказано подвести свои войска к стенам города. Тем временем они должны были поджечь его в разных кварталах, как и было условлено, и начать всеобщую резню. Он должен был перехватить беглецов и таким образом соединиться со своими друзьями за стенами. "Затем я привел галлов в Дом. Их история была следующей. - Лентул и двое его спутников передали нам письма к нашему народу. Нам было приказано как можно быстрее отправить нашу кавалерию в Италию. Они должны были найти силы пехоты. Лентул рассказал нам, как он узнал из сивиллиных книг, что он был тем "третьим Корнелием", которому суждено было стать правителем Рима. Двое, которые были до него, были Цицерон и Сулла. Этому году тоже было суждено увидеть разрушение города, ибо он был десятым после оправдания Девственниц-весталок и двадцатым

после сожжения Капитолия. После этого у Цетега и других возник спор о времени поджога города. Лентул и другие хотели, чтобы это произошло в праздник Сатурна (17 декабря). Цетегус подумал, что это откладывается слишком надолго. "Затем я приказал принести письмо. Сначала я показал Цетегусу его печать. Он признал это. Я перерезал бечевку. Я прочитал письмо. Оно было написано его собственным почерком и имело следующий смысл: он заверил Сенат и народ Галлии, что выполнит то, что обещал их депутатам, и, с другой стороны, умолял их выполнить то, что взяли на себя их депутаты. Цетегус, который объяснил найденное в его доме оружие тем, что всегда был знатоком подобных вещей, был ошеломлен, услышав, как ему прочитали письмо, и ничего не сказал.

Затем Манлий признал свою печать и почерк. Было зачитано письмо от него примерно того же содержания. Он признал свою вину. Затем я показал Лентулу его письмо и спросил его: "Признаешь ли ты печать?" "Признаю", - ответил он. "Да, - сказал я, - это хорошо известное устройство, по подобию великого патриота, вашего дедушки. Один только вид этого должен был удержать вас от такого преступления, как это". Затем было прочитано его письмо. Затем я спросил его, может ли он дать какие-либо объяснения. "Мне нечего сказать", - был его первый ответ. Через некоторое время он поднялся и задал несколько вопросов галлам. Они ответили ему без всяких колебаний и спросили в ответ, не говорил ли он им о сивиллиных книгах. То, что последовало дальше, было самым странным доказательством силы совести. Он мог бы все отрицать, но он сделал то, чего никто не ожидал, он признался; все его способности, весь дар речи покинули его. Затем Вултурций попросил принести и вскрыть письмо, которое он вез от Лентула к Катилине. Лентул был сильно взволнован, но все же признал печать и почерк своими. Письмо, которое было неподписано, состояло из следующих слов: *Вы узнаете, кто я такой, через посланника, которого я пошлю к вам. Ведите себя как мужчина. Подумайте о положении, в котором вы сейчас находитесь, и подумайте, что вы должны сейчас сделать. Соберите всю возможную помощь, даже если она будет самой подлой.* Одним словом, дело было возбуждено против них всех не только по печатям, письмам, почерку, но и по лицам мужчин, их потупленному виду, их молчанию. Их замешательства, их украдкой бросаемых друг на друга взглядов было достаточно, если бы не было других доказательств, чтобы обвинить их".

Лентул был вынужден сложить с себя полномочия претора. Он и другие заговорщики были переданы некоторым высокопоставленным гражданам, которые были обязаны держать их под надежной охраной и предъявить, когда от них потребуют.

Низшие слои столичного населения, которым Катилина и его сподвижники давали щедрые обещания и которые относились к его планам, или к тому, что предполагалось как его планы, со значительной благосклонностью, были очень тронуты рассказом Цицерона о том, что было обнаружено. Никто не мог рассчитывать извлечь выгоду из пожаров и резни; и они были склонны принять сторону партии порядка. Тем не менее, элементы опасности были, как всегда бывает в больших городах. Было известно, что клиенты Лентула, чья семья была одной из самых знатных и богатых в Риме, приложат решительные усилия, чтобы вызволить его из-под стражи. В то же время несколько самых влиятельных вельмож были сильно заподозрены в поддержке революционеров. В частности, Крассу, самому богатому человеку в Риме, открыто предъявили обвинение в соучастии. Некий Тарквиний предстал перед сенатом, будучи, как говорили, арестован, когда действительно направлялся к Катилине. Обязанный рассказать все, что он знал, он рассказал то же, что и другие свидетели о приготовлениях к пожару и резне, и добавил, что он доставил Катилине специальное послание от Красса, в котором говорилось, что его не

должен беспокоить арест Лентула и других; только он должен без промедления выступить в город и таким образом спасти пленников и восстановить мужество тех, кто все еще на свободе. Большинству тех, кто это слышал, обвинение показалось невероятным. Красс слишком многое поставил на карту, чтобы рисковать собой в столь рискованных предприятиях. Те, кто верил в это, боялись настаивать на этом против столь могущественного гражданина; и было много таких, кто был слишком обязан обвиняемому, чтобы позволить настаивать на этом, независимо от того, правда это или ложь. Сенат постановил, что обвинение было ложным и что его автор должен содержаться под стражей до тех пор, пока он не раскроет, по чьему предложению он выступил. Сам Красс считал, что консул сам подстроил все это дело с целью лишить его возможности выступить на стороне обвиняемого. "Он пожаловался мне, - говорит историк Саллюстий, - на великое оскорбление, нанесенное ему Цицероном".

В этих обстоятельствах Цицерон решил действовать энергично. Пятого декабря он созвал заседание Сената и вынес на рассмотрение Палаты представителей вопрос о том, что следует сделать с заключенными, находящимися под стражей. Избранный консул высказал свое мнение, что их следует предать смерти. Цезарь, когда пришла его очередь говорить, встал и обратился к сенату. Он не пытался защищать обвиняемых. Они заслуживали какого-либо наказания. Поскольку это было так, пусть с ними поступят по закону. А закон гласил, что ни один римский гражданин не мог быть казнен иначе, как по общему решению народа. Если бы был избран какой-либо другой курс, люди впоследствии вспоминали бы не свои преступления, а суровость, с которой с ними обошлись. Катон последовал за ним, высказавшись за смертную казнь, и Цицерон встал на ту же сторону. Сенат, не разделяясь, проголосовал за то, что заключенные были предателями и должны понести обычное наказание.

Консул все еще опасался, что может быть предпринята попытка спасения. Он приказал чиновникам сделать все необходимые приготовления и сам отвел Лентула в тюрьму, а других преступников передал на попечение преторов. Сама тюрьма строго охранялась. В этом здании, расположенном под восточной стороной Капитолийского холма, была яма глубиной в двенадцать футов, которая, как говорят, была построена царем Туллием. У него были каменные стены и сводчатая каменная крыша; здесь было довольно темно, а зловоние и грязь стояли просто отвратительные. Лентула поспешно отвели в это зловонное логово, где палачи задушили его. Его сообщников постигла та же участь. Восторженная толпа проводила консула до его дома. Когда его спросили, как обстоят дела с осужденными, он ответил многозначительными словами: "ОНИ ВЫЖИЛИ".

Главный заговорщик умер менее позорной смертью. Ему удалось собрать около двенадцати тысяч человек, но только четвертая часть из них была хорошо вооружена; остальные несли охотничьи копья, пики, заостренные колья - любое оружие, которое попадалось под руку. Сначала он избегал встречи, надеясь услышать новости о чем-то, сделанном для его дела друзьями, которых он оставил в Риме. Когда до него дошла весть о том, что произошло пятого декабря, он увидел, что его положение было отчаянным. Многие из вступивших в его ряды воспользовались первой возможностью дезертировать; с теми, кто остался верен ему, он поспешно двинулся на северо-запад, надеясь перебраться через Апеннины в Соседнюю Галлию. Но он нашел силы, готовые преградить ему путь, в то время как Антоний с армией из Рима теснил его с юга. Ему ничего не оставалось, как дать сражение. В начале 62 года до н.э. армии встретились. Лидер повстанцев показал себя в тот день с лучшей стороны. Ни один солдат не мог быть храбрее, ни один генерал - более умелым. Но силы, выставленные против

него, были неодолимы. Когда он увидел, что все потеряно, он бросился в самую гущу сражения и упал, пронзенный ранами. Впоследствии его нашли далеко впереди своих людей, все еще дышащим и с тем же надменным выражением на лице, которое отличало его при жизни. И такова была заразительная сила его примера, что ни один свободный человек из всех его последователей не был взят живым ни в битве, ни в последовавшей за ней погоне. Таков был конец ВЕЛИКОГО ЗАГОВОРА.

ГЛАВА VIII.

ЦЕЗАРЬ.

В двадцать восемь лет Цезарь, которому менее тридцати лет спустя предстояло умереть хозяином Рима, был известен в основном как щеголь и расточитель. "Во всех его замыслах и всей его политике, - сказал Цицерон, - я различаю характер тирана; но когда я вижу, как тщательно уложены его волосы, как изящно одним пальцем он чешет голову, я не могу представить, чтобы он вынашивал такой чудовищный замысел, как свержение свобод Рима". Что касается его долгов, то они были огромными. Он ухитрился потратить свое собственное состояние и состояние своей жены; и у него было более трехсот тысяч фунтов долга. Это было до того, как он занял какой-либо государственный пост; и этот пост, когда он его занял, определенно не улучшил его положения. Он был назначен одним из стражей Аппиевой дороги (великой дороги, которая вела на юг от Рима и была маршрутом путешественников в Грецию и на Восток). Он потратил большую сумму денег на ремонт. Его следующая должность эдила стоила еще дороже. Это всегда было дорого, поскольку эдил, помимо содержания храмов и других общественных зданий в ремонте (особый бизнес, обозначенный его именем), руководил публичными играми. Ему выделили пособие на его расходы из казны, но ожидалось, что он, как и лорд-мэр Лондона, будет тратить значительную часть своих собственных денег. Цезарь намного превзошел всех своих предшественников. На одном из представлений, которые он демонстрировал, на арене сражались триста двадцать пар гладиаторов; и гладиатор, с его доспехами и оружием, а также долгими тренировками, которые ему приходилось проходить, прежде чем он мог драться публично, был очень дорогим рабом. Шестьсот сорок человек обойдутся, в первую и последнюю очередь, не менее чем в сто фунтов за штуку, и многие из них, возможно, треть от общего числа, будут убиты в течение дня. Он также не был доволен расходами, которые были более или менее необходимыми. Он устроил грандиозное шоу диких зверей в память о своем отце, который умер почти двадцать лет назад. Вся мебель театра, вплоть до самой сцены, была сделана по этому случаю из цельного серебра.

Несмотря на всю эту кажущуюся глупость, были те, кто различал необычные мысли и замыслы. Экстравагантные траты, конечно, были обычным способом завоевать расположение народа. Римский аристократ покупал должность за должность, пока не достиг той, которая давала ему право управлять провинцией. В разграблении провинции он ожидал найти то, что возместило бы ему все, что он потратил, и оставило бы приличную сумму в остатке. Цезарь стремился к этой цели, но он также стремился к чему-то большему. Он станет защитником народа, и народ сделает его величайшим человеком в Риме. До него Марий играл эту роль; и он решил сыграть ее снова. Имя Мария пользовалось дурной славой после победы его великого соперника Суллы, и Цезарь решил восстановить его честь. Он приказал тайно изготовить статуи этого великого человека, на которых были начертаны названия побед, благодаря которым он избавил Рим от варваров. Утром в день представления их видели, великолепных в позолоте, на вершине

Капитолия. Первым чувством было всеобщее изумление дерзостью молодого судьи. Тогда чернь разразилась выражениями восторженного восторга; многие даже заплакали от радости снова увидеть сходство со своим старым любимцем; все заявили, что Цезарь был его достойным преемником. Знать была полна гнева и страха. Катулл, который был их лидером, обвинил Цезаря в сенате. "Этот человек, - сказал он, - больше не роет мины против своей страны, он обрушивает на нее тараны". Сенат, однако, побоялся или не захотел действовать. Что касается народа, то вскоре он предоставил молодому человеку замечательное доказательство своей благосклонности. То, что можно назвать Первосвященством, стало вакантным. Это была честь, обычно оказываемая какому-нибудь пожилому человеку, одержавшему победы за границей и удостоившемуся высоких почестей дома. В этот раз были такие конкуренты, одним из которых был Катулл. Но Цезарь, хотя и был намного моложе того возраста, в котором обычно занимали подобные должности, решил участвовать в ристалище. Он отказался от крупной взятки, с помощью которой Катулл пытался заставить его отказаться от участия в состязании, заявив, что соберет большую сумму, чтобы довести его до победного конца. Действительно, он поставил все на борьбу. Когда в день выборов он выходил из своего дома, его мать проводила его до двери со слезами на глазах. Он повернулся и поцеловал ее. "Мать, - сказал он, - сегодня ты увидишь своего сына либо Первосвященником, либо изгнанником".

Дело в том, что Цезарь всегда проявлял признаки мужества и честолюбия и всегда был уверен в своем будущем величии. Теперь, когда его положение в стране было обеспечено, люди начали вспоминать эти истории из его юности. В те дни, когда Сулла был хозяином Рима, Цезарь был одним из очень немногих, кто осмелился воспротивиться воле великого человека. Марий, лидер партии, приходился ему дядей, и он сам женился на дочери Кунии, другого популярного лидера. Эта жена Суллы приказала ему развестись, но он категорически отказался. Некоторое время его жизнь была в опасности; но Сулла был вынужден пощадить его, заметив, однако, друзьям, которые заступались за него, на том основании, что он был еще совсем мальчиком: "У вас нет ни капли здравого смысла, если вы не видите, что в этом мальчике есть материал для многих Мариев". Молодой Цезарь считал более безопасным на время покинуть Италию. Путешествуя по окрестностям Малой Азии, он попал в руки пиратов, которые в то время наводили ужас на все Восточное Средиземноморье. Первым делом он спросил их, сколько они хотят за него выкупа. "Двадцать талантов" (около пяти тысяч фунтов), - был их ответ. "Что за глупость!" он сказал: "Вы не знаете, кого заполучили. У вас будет пятьдесят". За деньгами были посланы гонцы, и Цезарь, оставшийся с другом и парой рабов, воспользовался ситуацией наилучшим образом. Если бы он хотел заснуть, то отправил бы сообщение, приказывающее своим похитителям молчать. Он участвовал в их спортивных состязаниях, читал им стихи и речи и грубо оскорблял их как невежественных варваров, если они не аплодировали. Но его самой показательной шуткой была угроза повесить их. Мужчины посмеялись над вольнословящим парнем, но вскоре убедились, что он говорит совершенно серьезно. Примерно через пять недель деньги прибыли, и Цезаря освободили. Он немедленно отправился в Милет, снарядил эскадрон и, вернувшись на место своего пленения, нашел и захватил в плен большую часть отряда. Оставив своих пленников под надежной охраной в Пергаме, он направился к губернатору провинции, в руках которого была власть над жизнью и смертью. Но у губернатора, в свойственной ему манере, были свои взгляды. Пираты были богаты и могли позволить себе щедро заплатить за свои жизни. Он сказал, что рассмотрит это дело. Цезарю это было совсем не по душе. Он поспешил обратно в Пергам и, взяв закон в свои руки, распял всех узников.

Это был хладнокровный и решительный человек, в котором народ видел своего лучшего друга, а знать - злейшего врага. Эти последние, казалось, увидели шанс погубить его, когда заговор Катилины был раскрыт и разгромлен. Он был обвинен, особенно Катонам, в том, что был сообщником; и когда он покинул Сенат после дебатов, в которых выступал против казни арестованных заговорщиков, на него напала толпа джентльменов, составлявших телохранителей Цицерона, и его жизни даже угрожала опасность. Но официальное обвинение так и не было выдвинуто; на самом деле оно было явно ложным, поскольку Цезарь был слишком уверен в благосклонности народа, чтобы устраивать заговоры для ее завоевания. На следующий год он был назначен претором, а по истечении срока его полномочий - губернатором Дальней Испании. Старая проблема долга все еще давила на него, и он не мог покинуть Рим, пока не удовлетворил самых настойчивых из своих кредиторов. Это он сделал с помощью Красса, самого богатого человека в Риме, который обеспечил его почти на двести тысяч фунтов стерлингов. К этому времени относятся два анекдота, которые, правдивы они или нет, любопытным образом характеризуют его характер. По пути в свою провинцию он проезжал мимо городка, который имел особенно убогий вид. Один из его товарищей заметил: "Осмелюсь сказать, что даже здесь есть борьба за должность, а также зависть и вечеринки". "Да, - сказал Цезарь, - и действительно, что касается меня, то я предпочел бы быть первым человеком здесь, чем вторым в Риме". Приблизившись к концу своего путешествия, он воспользовался случаем, чтобы почитать "Жизнь Александра". Некоторое время он сидел, погрузившись в раздумья, затем разрыдался. Его друзья поинтересовались причиной. "Причина?" он ответил. "Разве недостаточно того, что в моем возрасте Александр завоевал полмира, в то время как я ничего не сделал?" Однако кое-что ему удалось сделать в Испании. Он расширил владычество Рима до Атлантического океана, уладил дела провинциалов к их удовлетворению и в то же время умудрился заработать достаточно денег, чтобы расплатиться со своими долгами. Вернувшись в Рим, когда закончился год его командования, он столкнулся с трудностями. Он хотел удостоиться чести триумфа (триумфом называлось шествие, в ходе которого победоносный полководец въезжал на колеснице в Капитолий, сопровождаемый добычей и пленными, взятыми в его походах), а также он хотел стать кандидатом на пост консула. Но полководец, желавший триумфа, должен был ждать за воротами города, пока за него проголосуют, в то время как кандидат на пост консула должен был, не теряя времени, начать опрос населения. Цезарь, вынужденный делать выбор между ними двумя, предпочел демонстрацию силы. Он баллотировался в консулы и был триумфально избран.

Став консулом, он создал ту знаменитую Коалицию, которую обычно называют Первым триумвиратом. Помпей был самым знаменитым солдатом того времени, а Красс, как уже было сказано ранее, самым богатым человеком. Эти двое были врагами, и Цезарь примирил их; а затем все трое вместе договорились разделить власть и получаемые за нее награды между ними. Цезарь охотно сделал бы Цицерона четвертым, но тот отказался, возможно, не без некоторых колебаний. Он сделал больше; он осмелился сказать некоторые вещи, которые не были более приятными, потому что они соответствовали новому положению вещей. Трое римских правителей не желали этого терпеть и решили, что этого беспокойного оратора следует убрать с дороги. У них были готовые средства для этого. Некий Клодий, о котором мы подробнее услышим позже, испытывал очень сильную ненависть к Цицерону и, чтобы получить возможность навредить ему и достичь других своих целей, стремился стать трибуном. Но на этом пути возникло большое препятствие. Трибуны были трибунами *плебса*, то есть общины, интересы которой они, как предполагалось, специально должны были защищать; в то время как

Клодий был дворянином — действительно, дворянином из дворян, — принадлежавшим к тому великому Дому Клавдиев, который был одной из старейших и гордейших римских семей. Единственное, что можно было сделать, - это быть усыновленным каким-нибудь плебеем. Но и здесь, опять же, возникли трудности. Закон предусматривал, что усыновление должно быть реальным, что усыновитель должен быть бездетным и достаточно взрослым, чтобы быть отцом своего приемного сына. Также было необходимо согласие священников. Этого согласия никогда не спрашивали, да и вообще никогда не могли дать, поскольку отец был женатым человеком, имел собственных детей и был не менее чем на пятнадцать лет моложе своего новорожденного сына. Действительно, законопроект о легализации усыновления находился на рассмотрении народа более года, но без какого-либо прогресса. Теперь все трое взялись за то, чтобы наказать Цицерона за его самонадеянность в противостоянии им; и при его новых сторонниках закон был принят за один день, будучи внесенным в полдень и ставшим законом к трем часам дня. О том, какой вред Клодий таким образом смог нанести Цицерону, мы узнаем в следующей главе, кроме первой.

Его консульство закончилось, Цезарь получил солидную награду за свои заслуги - управление провинцией Галлия в течение пяти лет. Прежде чем покинуть Италию и приступить к командованию, он с удовлетворением увидел, как Цицерона отправили в изгнание. После этого он пересек Альпы. Следующие девять лет (поскольку его правление было продлено еще на один период, когда первое подходило к концу) он был вовлечен в почти непрерывную войну, хотя все еще находил время управлять политикой Рима. В мои задачи не входит описывать кампании, которые закончились тем, что Галлия от Альп до Британского канала и от Атлантики до Рейна стала римским владением. Тем не менее, возможно, было бы интересно сказать несколько слов о его отношениях с нашим собственным островом. В своей первой экспедиции, летом 55 года до нашей эры, он сделал немногим больше, чем осуществил высадку на побережье, и это не обошлось без значительных потерь. В следующем, предпринятом в начале следующего года, он задействовал силы численностью более сорока тысяч человек, переправленные флотилией из восьмисот кораблей. На этот раз бритты не осмелились воспротивиться его высадке; и когда они встречали его в поле, когда он шел внутрь страны, они неизменно терпели поражение. Затем они изменили свою тактику и отступили перед ним, по пути опустошая страну. Он пересек Темзу немного западнее того места, где сейчас стоит Лондон, добился покорности одного туземного племени и, наконец, заключил мир с туземным вождем Кассивелауном, который дал заложников и пообещал дань. Общим результатом десятилетней борьбы было присоединение к империи огромной провинции ценой ужасного кровопролития, жизней, как говорят некоторые, двух миллионов мужчин, женщин и детей (ибо Цезарь, хотя и не был определенно жесток, был абсолютно равнодушен к страданиям), и оставить завоевателя хозяином римского мира. Коалиция действительно распалась, потому что Красс погиб на Востоке, ведя глупую и неспровоцированную войну с парфянами, и Помпей начал бояться и ненавидеть своего оставшегося соперника. Но теперь Цезарь был достаточно силен, чтобы обходиться без друзей и сокрушать врагов. Сенат тщетно приказывал ему распустить свою армию к определенному дню под страхом того, что его сочтут врагом страны. Он продолжал продвигаться вперед, пока не достиг границ Италии, небольшой реки, чье название Рубикон стало тогда знаменитым навсегда, которая отделяла Цизальпинскую Галлию от Умбрии. Пересечь его означало практически объявить войну, и даже решительный Цезарь некоторое время колебался. Он продумал свой курс самостоятельно; он даже посоветовался со своими друзьями. Он признался, что ему больно при мысли о войне, началом которой станет его поступок, и о том, как

потомки будут судить о его поведении. Затем со знаменитыми словами "Жребий брошен" он бросился в реку. Помпей бежал из Рима и из Италии. Цезарь не терял ни часа, добиваясь своего успеха. Сначала, сделав Италию полностью своей собственностью, он двинулся маршем в Испанию, которая была цитаделью Помпея, и захватил ее. Оттуда он вернулся в Рим, а из Рима снова направился в Македонию, где Помпей собрал свои силы. Решающее сражение произошло при Фарсалии в Фессалии; ибо, хотя остатки партии Помпея выстояли, исход войны после того дня никогда не вызывал сомнений.

Вернувшись в Рим (ибо о его действиях в Египте и других местах нет необходимости говорить), он воспользовался своей победой с таким же милосердием, с каким проявил энергию, добиваясь ее. По отношению к Цицерону он не только не выказал ни малейшего намека на злобу, но проявил величайшую вежливость и доброту. Он написал ему из Египта, сообщив, что тот должен сохранить все свои достоинства и почести; и он приложил все усилия, чтобы договориться о встрече с ним, и даже снизошел до дружеской полемики. Цицерон написал небольшой трактат о своем друге Катоне; и поскольку Катон был последовательным противником Цезаря и предпочел покончить с собой, чтобы не попасть в руки повелителя Рима, от Цезаря требовалось немало добродушия, чтобы отнестись к этому с должным участием. Он удовлетворился написанием ответа, которому дал название "*Антикатоновский*" и в котором, хотя и показал, насколько бесполезной и непрактичной была политика Катона, высказал самые высокие комплименты гению и честности этого человека. Он даже удостоил Цицерона высокой чести посетить его, о чем хозяин так описывает в письме к Аттику. "Какой замечательный гость у меня был! И все же я не сожалею, потому что все прошло очень хорошо. Вечером 8 декабря он пришел в дом Филиппа. (Филипп был его шурином.) Вилла была так переполнена войсками, что едва нашлось помещение, где мог бы пообедать сам великий человек. Я полагаю, что там было две тысячи человек. Я действительно беспокоился о том, что может произойти на следующий день. Но Барба Кассий пришел мне на помощь и выделил охрану. Лагерь был разбит в парке; дом строго охранялся. 19-го он уединился с Филиппом до часу дня. Никого не впускали. Я полагаю, он обсуждал счета с Бальбом. После этого он отправился прогуляться по берегу. Затем последовала баня. Он услышал эпиграмму Мамурре (самую непристойную эпиграмму Катулла) и не выказал раздражения. Он оделся к обеду и сел. Поскольку проходил курс лечения, то ел и пил без опаски и в самом приятном расположении духа. Угощение было роскошным и тщательно продуманным; и не только это, но и хорошо приготовленное и приправленное приятными разговорами. Слуг великого человека также обильно развлекали в трех других залах. Низшим вольноотпущенникам и рабам не на что было жаловаться; высшим был оказан даже элегантно-приятный прием. Не говоря уже о том, что я показал себя радушным хозяином. И все же он был не из тех гостей, которым мы могли бы сказать: "Мой дорогой сэр, я надеюсь, вы придете снова, когда будете здесь в следующий раз". В нашем разговоре не было ничего важного, но много разговоров о литературе. Что вы хотите знать? Он был польщен и, казалось, рад быть со мной. Он сказал мне, что один день пробудет в Байях, а другой - в Пuteолах.

В течение трех месяцев эта замечательная карьера внезапно и жестоко оборвалась. Были враги, которых не успокоили все милосердие и доброта Цезаря. Некоторые ненавидели его по своим личным причинам, некоторые искренне верили, что, если его убрать с дороги, Рим снова может стать свободной страной. Люди тоже, которые были совершенно готовы смириться с реальностью власти, стали с подозрением относиться к некоторым ее внешним признакам. Имя царя было ненавистно Риму с тех пор, как последний его носитель, Тарквиний Гордый, был изгнан почти семь столетий назад. Теперь у него были неблагоприятные друзья или, может

быть, благоразумные враги, которые беспокоились о том, чтобы Цезарь взял это на себя. Из книг Сивиллы было процитировано пророчество о том, что Рим может победить парфян, если отдаст себя под командование царя; в противном случае он потерпит неудачу. На основании этого Цезарю был присвоен титул короля, когда однажды он возвращался из Альбы в Столицу. Народ выразил свое негодование, и он ответил: "Я не царь, а только кесарь"; но было замечено, что он прошел дальше с мрачным видом. Он надменно держался в Сенате, не вставая, чтобы ответить на высказанные ему комплименты. На празднике Луперкалий, когда он сидел в позолоченном кресле и наблюдал за состязаниями, облаченный в триумфальную мантию, Антоний поднес ему корону, увитую лавровыми листьями. Последовало несколько аплодисментов; впрочем, они не были всеобщими, но явно подобранными по случаю. Цезарь убрал корону, и последовавший за этим крик нельзя было понять превратно. Это было предложено снова, и несколько человек, как и прежде, зааплодировали, в то время как второй отказ вызвал такое же сердечное одобрение. Были найдены его статуи с коронами на них. Этих двух трибунов сместили и в то же время приказали заключить в тюрьму людей, которые только что приветствовали его как царя. Народ был в восторге, но Цезарь лишил их должности. Вызванное таким образом общее недовольство побудило заговорщиков действовать. Предостережения, некоторые из которых, как мы можем предположить, исходили от тех, кто был посвящен в тайну, не остались незамеченными. Это так подействовало на него, что он решил не выходить из дома в день, который, как он понимал, должен был стать для него роковым; но Децим Брут, участвовавший в заговоре, отговорил его от этой цели. Последовавшую за этим сцену можно еще раз пересказать словами, в которых ее описывает Плутарх: "Артемидор из Книды, учитель греческого языка, который таким образом сблизился с некоторыми из сподвижников Брута, был в значительной степени ознакомлен с тем, что происходило, и составил изложение информации, которую он должен был сообщить. Увидев, что Цезарь отдал представленные ему бумаги сопровождавшим его рабам, он подошел поближе и сказал: "Цезарь, прочти это наедине и побыстрее: здесь содержатся вопросы, которые почти касаются тебя". Цезарь взял листок и хотел прочитать, но ему помешала толпа людей, которые столпились, чтобы поприветствовать его. Держа его в руке, он прошел в Дом. На том месте, куда был созван Сенат, стояла статуя Помпея. Говорят, что Кассий посмотрел на это и молча призвал на помощь мертвеца, и это при том, что он был склонен к скептическим догматам Эпикура. Тем временем Децим Брут намеренно поддерживал беседу с Антонием, который был крепко привязан к Цезарю и обладал огромной силой. Когда Цезарь вошел, Сенат встал, чтобы поприветствовать его. Некоторые из соратников Брута встали за его креслом; другие подошли к нему спереди, по-видимому, присоединив свои мольбы к тем, с которыми Кимбер Туллий обращался к нему от имени своего брата. Он сел и отклонил прошение жестом неодобрения их срочности. Затем Туллий схватил свою тогу обеими руками и стянул ее с шеи. Это был сигнал к атаке. Каска нанес ему первый удар в шею. Рана была не смертельной и даже не серьезной, настолько взволнованным был нападающий, нанося первый удар в столь ужасном деле. Цезарь повернулся к нему, схватил кинжал и крепко держал его, крича при этом по-латыни: "Каска, негодяй, что ты делаешь?", в то время как Каска кричал по-гречески своему брату: "Брат, помоги!" Те сенаторы, которые не были посвящены в заговор, были охвачены ужасом. Они не могли ни закричать, ни помочь: они не осмеливались даже заговорить. Заговорщики стояли вокруг Цезаря, каждый с обнаженным мечом в руке; куда бы он ни обращал свой взор, он видел оружие, готовое нанести удар, и боролся, как дикий зверь среди охотников. Они договорились, что каждый должен принять участие в убийстве, и Брут, каким бы другом он ни был, не мог сдержаться. С остальными, как говорят некоторые, он боролся, бросаясь туда-сюда и громко

крича; но как только он увидел Брута с обнаженным мечом в руке, он завернулся с головой в тогу и перестал сопротивляться, упав, то ли случайно, то ли по принуждению убийц, у пьедестала статуи Помпея. Говорят, что он получил двадцать три ранения. Многие из нападавших наносили друг другу удары по его телу ". Его похороны стали замечательным доказательством его популярности. Яма, в которой должно было быть сожжено тело, была сооружена на Марсовом поле. На Форуме была установлена позолоченная модель храма Матери Венеры. (Цезарь утверждал, что происходит через Энея от этой богини.) Внутри этого святилища находилось ложе из слоновой кости, покрытое золотыми и пурпурными покрывалами, а в изголовье - трофей с одеждой, которую он носил, когда был убит. Высшие государственные чиновники прошлого и настоящего вынесли ложе на Форум. У некоторых была идея сжечь его в часовне Юпитера в Капитолии, у некоторых - в зале Помпея (где он был убит). Внезапно двое мужчин с мечами на поясе и у каждого по два дротика в руках вышли вперед и подожгли его восковыми факелами, которые они держали в руках. Толпа зевак поспешно сложила кучу сухого хвороста, побросав на него балки, скамейки и все, что было принесено в подарок. Флейтисты и актеры сбросили триумфальные одежды, в которые они были облачены, разорвали их и бросили в огонь, а ветераны добавили украшения, в которых они пришли на похороны, в то время как матери бросили украшения своих детей.

Двери здания, в котором было совершено убийство, были заблокированы, чтобы в него больше никогда нельзя было войти. Тот день (15 марта) был объявлен проклятым. На нем никогда не должно было вестись никаких общественных дел.

Эти действия, вероятно, отражали общественное мнение об этом деянии, поскольку Цезарь, в дополнение к гениальности, которую все должны были признать, обладал как раз теми качествами, которые делают людей популярными. У него не было угрызений совести, но, с другой стороны, у него не было и подлости. Он влез в огромные долги, имея лишь слабый шанс их выплатить — можно сказать, никакого шанса, кроме как путем ограбления других. Он прибрал к рукам все, что хотел, взяв, например, три тысячи фунтов золота весом из казны Капитолия и оставив вместо него позолоченную медь; и он грабил несчастных галлов без угрызений совести. Но при этом он был столь же свободен в отдаче, сколь и беспринципен в получении. Кроме того, он обладал личным мужеством, которое является одним из самых привлекательных качеств. Снова и снова в битве он превращал поражение в победу. Он настигал беглецов на бегу, хватал их за горло и главными силами ставил лицом к лицу с врагом. Пересекая Геллеспонт после битвы при Фарсалии на небольшой лодке, он встретил два вражеских корабля. Без колебаний он обнаружил себя, призвал их сдаться, и ему подчинились. В Александрии он был застигнут врасплох внезапной вылазкой осажденных, и ему пришлось прыгнуть в гавань. Он проплыл двести шагов к ближайшему кораблю, держа в левой руке рукопись, чтобы не дать ей упасть в воду, и держа в зубах свой военный плащ, поскольку не хотел, чтобы враг хвастался тем, что у него есть какая-либо добыча.

Он ничему не позволял встать у него на пути. Если его политике соответствовало уничтожение целого племени, мужчин, женщин и детей, он отдавал приказ без колебаний, точно так же, как впоследствии записал это в своей истории, без малейшего раскаяния или сожаления. Если соперник вставал у него на пути, он приказывал убрать его, и ему было совершенно безразлично, как это будет произведено. Но его цель достигалась, или там, где не было никакой цели, о которой шла речь, он мог быть добрейшим и мягчайшим из людей. Друг, с которым он путешествовал, внезапно заболел. Цезарь сразу уступил ему единственную комнату в

маленькой гостинице, а сам провел ночь под открытым небом. Своих врагов он прощал с удивительной легкостью и даже делал первые авансы. Политические соперники, однажды обезвреженные, были допущены к его дружбе и даже получили почетное звание; писателей, которые обрушивались на него с самыми грубыми оскорблениями, он приглашал к своему столу.

О внешнем облике человека до нас дошла следующая фотография: "Говорят, что он был удивительно высоким, со светлым цветом лица и хорошей формой конечностей. Его лицо было немного полноватым, глаза черными и блестящими. Здоровье у него было отличное, но к концу жизни он был подвержен обморокам и ночным кошмарам. Также в двух случаях, когда решались какие-то общественные дела, у него случались эпилептические припадки. Он очень следил за своей внешностью, тщательно подстригал волосы и бороду. Он был чрезвычайно раздосадован таким уродством, как облысение, которое, как он обнаружил, стало предметом многих пасквилей. Поэтому у него вошло в привычку поднимать свои редкие локоны над головой; и из всех почестей, оказанных ему Сенатом и народом, ни одна не была для него более желанной, чем та, которая давала ему право постоянно носить лавровую гирлянду".

Он был удивительно искусен во владении оружием, превосходный пловец и необычайно вынослив. На марше он иногда ездил верхом, но чаще ходил пешком, держа голову непокрытой как в дождь, так и при солнечном свете. Он путешествовал с изумительной быстротой, преодолевая сто миль в день в течение нескольких дней подряд; если он подходил к реке, то переплывал ее вплавь, а иногда и пересекал на пузырях. Таким образом, он часто предвосхищал своих собственных посланников. При всем этом он остро ценил удовольствия и был дорогостоящим и даже роскошным в своих личных привычках. Говорят, например, что он носил с собой выложенный мозаикой тротуар, который должен был лежать в его палатке во время кампании в Галлии.

ГЛАВА IX.

ПОМПЕЙ.

В возрасте, когда Цезарь все еще бездельничал, Помпей добился таких почестей, которые римские военачальники-ветераны привыкли считать наивысшими, к которым они могли стремиться. Он только что закончил, если вообще закончил, школу, когда отец взял его служить под своим началом на войне против итальянских союзников Рима. Ему было не более девятнадцати, когда он отличился тем, что вел себя в условиях больших трудностей и опасностей с необычайным благоразумием и отвагой. Помпей старший, Страбон "косоглазый", как называли его современники, следуя своей странной манере давать прозвища из-за личных недостатков, и как он сам себя называл, был способным полководцем, но его ненавидели за его жестокость и алчность. Лидеры противоположной фракции увидели возможность избавиться от опасного врага и привлечь на свою сторону силы, которыми он командовал. Их план состоял в том, чтобы убить сына, пока он спит, сжечь отца в его палатке и в то же время поднять мятеж среди войск. Секрет, однако, не был сохранен. Письмо с описанием заговора было доставлено молодому Помпею, когда он сидел за ужином с главарем банды. Юноша не выказывал никаких признаков волнения, но пил больше обычного и с особой сердечностью клялся в верности своему фальшивому другу. Затем он встал и, выставив дополнительную охрану у палатки своего отца, приготовился ко сну, но не в своей постели. Убийцы нанесли покрывалу несколько ударов, а затем побежали поднимать солдат на восстание. В лагере немедленно поднялся шум, и

Помпей-старший, хотя и был спасен благодаря мерам предосторожности своего сына, не осмелился попытаться его подавить. Молодой человек оказался на высоте положения. Бросившись ничком перед воротами лагеря, он заявил, что если его товарищи полны решимости дезертировать к врагу, они должны пройти через его мертвое тело. Его мольбы возобладали, и между генералом и его войсками было достигнуто примирение.

Вскоре после этого случая отец умер, пораженный, как говорили, молнией, и Помпей стал сам себе хозяин. Прошло совсем немного времени, прежде чем он нашел возможность добиться еще большего отличия. Гражданская война все еще продолжала бушевать, и мало кто сослужил партии аристократов лучшую службу, чем Помпей. Другие довольствовались тем, что искали личной безопасности в лагере Суллы; Помпей был полон решимости сам что-нибудь сделать для общего дела. Он направился в Пиценум, где располагались его семейные владения и где его собственное влияние было велико, собрал три легиона (почти двадцать тысяч человек) со всеми их комиссариатами и транспортом в полном составе и поспешил на помощь Сулле. Трое враждебных генералов попытались перехватить его. Он обрушился всем своим войском на одного из них и сокрушил его, унося, помимо своей победы, личное отличие в том, что сразил в единоборстве чемпиона противника. Города, мимо которых он проезжал, горячо приветствовали его как своего избавителя. Второй военачальник, отважившийся встретиться с ним, оказался покинутым своей армией и едва смог спастись бегством; третий был полностью разбит. Сулла принял своего молодого сторонника, которому было не более двадцати трех лет, с выдающимися почестями, даже поднявшись со своего места и обнажив руки при его приближении.

В течение следующих двух лет его репутация продолжала расти. Он одержал победы в Галлии, на Сицилии и в Африке. Когда он возвращался в Рим после последней из этих кампаний, великий диктатор сам возглавил толпу, вышедшую ему навстречу, и приветствовал его как Помпея Великого, титул, который он продолжал использовать как свое фамильное имя[5]. Но была еще одна честь, которой молодой полководец стремился добиться, но Сулла не желал ее даровать, - высшая слава триумфа. "Никто, - сказал он, - кто не был консулом или хотя бы претором, не мог восторжествовать. Первый из Сципионов, отвоевавший Испанию у карфагенян, просил об этой чести не потому, что хотел получить это звание. Неужели это должно было достаться безбородому юноше, слишком молодому даже для того, чтобы заседать в Сенате? Но безбородый юноша настаивал. У него даже хватило наглости намекнуть, что будущее принадлежит не Сулле, а ему самому. "Больше людей, - сказал он, - поклоняются восходящему солнцу, чем заходящему". Сулла случайно не расслышал этих слов, но он увидел, какое волнение они вызвали в собрании, и попросил, чтобы их повторили ему. Его изумление позволило ему сказать только: "Пусть он восторжествует! Позволь ему восторжествовать". И он одержал триумф, к отвращению своих старших соперников, которых он намеревался, но из-за того, что улицы были недостаточно широки, чтобы провести демонстрацию, еще больше оскорбить, запрягая в свою колесницу слонов вместо лошадей.

[Примечание 5: *Помпей* - так назывался его дом (*род*). *Страбон* так звали его семью (*familia*). Этим он, похоже, не воспользовался, приняв на его место *Магнуса*.]

Два года спустя он встретил противника более грозного, чем любой из тех, с кем он когда-либо сталкивался. Серторий, защитник одновременно партии народа и коренных племен Испании, выступал против римского правительства. Вождь-ветеран выражал большое презрение к

своему молодому противнику: "Я бы выпорол мальчишку, - сказал он, - если бы не боялся старухи" (имея в виду коллегу Помпея). Но он хорошо позаботился о том, чтобы не недооценивать его на практике, и проявил все свое мастерство в общении с ним. Первая кампания Помпея против него была катастрофической; успехи второй были омрачены несколькими серьезными поражениями. Борьба продолжалась пять лет, и, казалось, было маловероятно, что она закончится, когда Серторий был убит своим заместителем Перпенной. Перпенна не смог воспользоваться властью, которую он таким образом приобрел, и был побежден и взят в плен Помпеем. Он пытался спасти свою жизнь, представив переписку Сертория. В этом были замешаны некоторые из самых выдающихся людей Рима, которые поддерживали тайную связь с лидером повстанцев и даже приглашали его в Италию. С поразительной мудростью Помпей, отдав приказ о немедленной казни предателя, сжег письма непрочитанными.

По возвращении в Италию ему сопутствовала обычная удача. Эта страна жестоко страдала от восстания рабов, которое римские военачальники подавляли на удивление медленно. Воодушевленный известием о приближении Помпея, Красс, находившийся в верховном командовании, атаковал армию повстанцев и разгромил ее. Однако значительному отряду удалось спастись бегством, и именно в него случайно попал Помпей, которого он полностью уничтожил. "Красс разгромил врага, - таким образом, он получил возможность похвастаться, - но я вырвал войну с корнем". Никакие почести не были слишком велики для человека одновременно столь искусного и столь удачливого (ибо римляне всегда свято верили в удачу полководца). 31 декабря 71 года до н.э., будучи все еще простым дворянином, то есть не занимая никакой гражданской должности в государстве, он одержал победу во второй раз, а на следующий день, будучи на несколько лет моложе установленного законом возраста и не занимая ни одной из должностей, с помощью которых обычно достигалось высшее достоинство в государстве, он вступил на свой первый консуль-ский корабль, его коллегой был Красс.

Однако он еще не достиг вершины своей славы. В годы, следовавшие за его консульством, пираты, наводнившие Средиземное море, стали невыносимыми. Выйдя, как это было в более поздние времена, не из гаваней Северной Африки, а из крепостей на южном побережье Малой Азии, они разграбили более цивилизованные регионы Запада и сделали крайне опасным плавание по морям либо ради удовольствия, либо ради наживы. Перебросить римские армии в провинции было невозможно, кроме как зимой, когда пираты отступали в свои крепости. Даже сама Италия не была в безопасности. Гавань Кайета с ее судами была сожжена на глазах претора. Из Мизена пираты увезли детей адмирала, который годом ранее возглавил экспедицию против них. Они даже отважились не только осадить Остию, римскую гавань, почти в пределах видимости от города, но и захватить флот, который был там расквартирован. Они были особенно оскорбительны для римских граждан. Если заключенный утверждал, что является таковым — а это требование обычно обеспечивало защиту, — они изображали величайшее раскаяние и тревогу, падая перед ним на колени и умоляя его о прощении. Затем они надевали на его ноги обувь и облачали в гражданскую одежду. Они говорили, что подобная ошибка не должна повториться. Концом их шуток было заставить его "пройтись по доске", и, получив саркастическое разрешение удалиться невредимым, они спустили в море лестницу и заставили его спуститься под страхом того, что его еще более грубо выбросят за борт. Взгляды людей начали обращаться на Помпея как на лидера, преуспевавшего во всех своих начинаниях. В 67 году до н.э. был предложен закон о назначении командующего (имя которого, однако, не

было названо), который в течение трех лет должен обладать абсолютной властью на море до Геркулесовых столпов (Гибралтарский пролив) и побережье на пятьдесят миль вглубь страны, и который должен быть снабжен двумястами кораблями, таким количеством солдат и матросов, сколько он захочет, и более чем миллионом фунтов стерлингов деньгами. Знать была в ярости от своего сопротивления и была готова силой предотвратить принятие этого закона. Автор предложения едва избежал смерти, а сам Помпей оказался под угрозой. "Если ты хочешь стать другим Ромулом, как Ромул, ты умрешь" (одна из форм легенды о первом царе Рима изображает его разорванным на куски сенаторами). Но всякое сопротивление было тщетным. Было создано новое командование, и, конечно же, оно было передано Помпею. Цены на зерно, которые в Риме поднялись до рекордной отметки во время голода, упали сразу же после назначения. Результат, действительно, полностью оправдал этот выбор. Новый генерал быстро справился с поставленной перед ним задачей. Не удовлетворенный силами, предоставленными под его командование, он собрал пятьсот кораблей и сто двадцать тысяч человек. С их помощью он изгнал пиратов с морей и взял штурмом их крепости, и все это менее чем за три месяца. В его руки попали двадцать тысяч пленных. С необычайной гуманностью он пощадил их жизни и, думая, что человек - порождение обстоятельств, решил изменить их образ жизни. Они должны были быть удалены от моря, перестать быть моряками и стать фермерами. Вполне возможно, что старик из Корика, чье искусство в садоводстве Вергилий прославляет в одной из своих Георгик, был одним из пиратов, которых благоразумное милосердие Помпея превратило в полезных граждан.

Оставалось добиться еще большего успеха. Более двадцати лет между Римом и Митридатом, царем Понта, велась война, время от времени прерываемая периодами сомнительного мира. Этот правитель, хотя и не раз доходивший до крайностей, с необычайным мастерством и мужеством ухитрялся вернуть свое состояние, и теперь, в 67 году до нашей эры, владел большей частью своих первоначальных владений. Лукулл, полководец величайших способностей, командовал римскими войсками, но он потерял доверие своих войск, и дела зашли в тупик. Друзья Помпея предложили передать ему верховное командование, и закон, который Цицерон поддержал в своей, пожалуй, самой совершенной из его политических речей[6], был принят. Помпей немедленно двинулся на Восток. Митридат держался четыре года, но без особой надежды на конечный успех или даже на побег. В 64 году, после тщетной попытки отравиться, такова была сила противоядий, которыми он укрепил себя против домашнего предательства (ибо так гласит история), он погиб от меча одного из своих наемников. Еще два года Помпей был занят улаживанием дел на Востоке. Наконец, в 61 году он вернулся в Рим, чтобы насладиться третьим триумфом, самым великолепным, который когда-либо видел город. Это продолжалось два дня, но все равно времени было слишком мало для демонстрации победных трофеев. Процессия несла имена не менее чем пятнадцати покоренных народов. Была взята тысяча фортов, девятьсот городов, и главные из них были представлены народу в виде картин. Доходы государства почти удвоились благодаря этим завоеваниям. Девяносто тысяч талантов золотой и серебряной монетой были выплачены в казну, и это было сделано не за счет солдат, чьи призовые были настолько велики, что самая маленькая доля составляла пятьдесят фунтов. Никогда прежде мир не видел подобного зрелища, и если бы Помпей умер, когда все было закончено, его провозгласили бы самым счастливым из людей.

[Примечание 6: Закон Манилии. Закон был предложен неким Манилием, народным трибуном.]

Конечно, он никогда больше не был таким великим, как в тот день. Когда с Цезарем и Крассом он поделил всю власть в государстве, он был лишь вторым, и намного вторым, из трех. Его влияние, его престиж, его популярность падали год от года. Удача, которая неотступно сопровождала его с самых ранних лет, теперь, казалось, покинула его. Даже представления, самые великолепные из когда-либо виденных в городе, которыми он развлекал людей на открытии своего театра (построенного на его собственные средства для общественного блага), не имели полного успеха. Вот письмо Цицерона о них своему другу Марию; интересно как описанием этой сцены, так и рассказом о собственных чувствах автора по этому поводу. "Если из-за какой-то физической боли или слабости здоровья вы не смогли прийти на игры, я должен отнести ваше отсутствие скорее к удаче, чем к разумному выбору. Но если вы считали вещи, которыми восхищается большинство людей, презренными, и поэтому, хотя здоровье позволяло, не приходили, тогда я рад вдвойне; рад и тому, что вы были свободны от болезни, и тому, что вы были настолько сильны умом, что презирали зрелища, которыми другие так необоснованно восхищаются В целом представления были великолепны, но не в вашем вкусе, если я могу судить о вашем по своему собственному. Во-первых, актеры-ветераны, которые ради собственной чести ушли со сцены, вернулись на нее, чтобы воздать честь Помпею. Твой любимец, мой дорогой друг Эзоп, проявил себя настолько плохо, что заставил всех нас почувствовать, что ему лучше уйти в отставку. Когда он пришел к присяге...

"И если ради поставленной цели я нарушу свою веру",

голос подвел его. Что еще нужно рассказывать? Вы все знаете о других шоу; у них не было даже того очарования, которым обычно обладают шоу средней руки. Показуха, с которой они были обставлены, лишила их всего веселья. Какое очарование в том, чтобы иметь шестьсот мулов в *"Клитемнестре"* или три тысячи статистов в *"Троянском коне"*, или кавалерию и пехоту в иностранном снаряжении в какой-нибудь боевой единице. Народ восхищался всем этим, но вам это не доставило бы никакого удовольствия. После этого последовало нечто вроде боев со зверями, длившихся пять дней. Они были великолепны: никто этого не отрицает. Но какой культурный человек может испытывать хоть какое-то удовольствие, когда какого-нибудь беднягу разрывает на куски какое-нибудь сильное животное или когда какое-нибудь благородное животное пронзают охотничьим копьем. Если на это стоит посмотреть, вы видели это раньше. И я, который действительно присутствовал, не увидел ничего нового. Последний день был отдан слонам. Велико было изумление толпы при виде этого; но радости не было никакой. Нет, было какое-то чувство сострадания, какое-то ощущение, что это животное имеет определенное родство с человеком ". Плиний старший сообщает нам, что по этому случаю было убито двести львов и что жалость, испытываемая к слонам, достигла апогея абсолютной ярости. Столь плачевным было зрелище их отчаяния, столь жалобно они молили публику о пощаде, "что вся толпа поднялась в слезах и обрушила на Помпея проклятия, которые вскоре обрушились на него".

А потом умерла молодая жена Помпея, Юлия, дочь Цезаря. Она была связующим звеном между двумя мужчинами, и надежда на мир ощутимо уменьшилась из-за ее потери. Возможно, первый разрыв произошел бы в любом случае; когда он произошел, Помпей оказался совершенно не готов к конфликту. Казалось, он действительно был под стать своему сопернику, но его силы рушились почти от одного прикосновения. "Мне стоит только топнуть ногой, - сказал он однажды, - и появятся солдаты"; однако, когда Цезарь объявил войну, перейдя Рубикон, он бежал без борьбы. Немногим более чем через полтора года все было кончено. Битва при

Фарсалии произошла 9 августа, а 29 сентября человек, одержавший победу на трех континентах, лежал обнаженным обезглавленным трупом на берегу Египта.

ГЛАВА X.

ИЗГНАНИЕ.

Подавление "Великого заговора", безусловно, было самым славным достижением в жизни Цицерона. Ему были оказаны такие почести, каких никогда прежде не удостоивался гражданин Рима. Люди самого высокого ранга говорили о нем как в Сенате, так и перед народом как об "Отце своего отечества". Публичная церемония благодарения, подобная той, что устраивалась при одержании великих побед, была проведена от его имени. В Италии было даже больше энтузиазма, чем в столице. Главные города оказывали ему такие почести, какие только могли оказать; в частности, в Капуе ему воздвигли позолоченную статую и присвоили титул Покровителя города.

Тем не менее, были признаки неприятностей в будущем. В обязанности консула при уходе с должности входило поклясться, что он добросовестно исполнил свой долг, и обычно в то же время он произносил речь, в которой рассказывал о событиях своего консульства. Цицерон готовился говорить, когда вмешался один из новых трибунов. "Человек, - воскликнул он, - который обрек граждан на смерть, не выслушав их в свою защиту, недостойн говорить. Он не должен делать ничего, кроме как принести клятву". Цицерон был готов к ответу. Повысив голос, он сказал: "Я клянусь, что я, и только я, спас это государство и этот город". Собрание одобрительно закричало, и когда церемония была завершена, вся толпа проводила бывшего консула до его дома. Его врагам еще не пришло время нападать на него, но то, что у него были враги, было очевидно.

С одним опасным человеком он имел несчастье столкнуться в год, последовавший за его консульством. Это был тот самый Клодий, о котором мы кое-что слышали в предыдущей главе. До сих пор эти двое были в довольно хороших отношениях. Клодий, как мы видели, принадлежал к одной из самых знатных семей Рима, был человеком определенных способностей и остроумия и умел быть любезным, когда ему этого хотелось. Но события, в которых Цицерон ни в малейшей степени не был виноват, привели к пожизненной вражде между ними. Ближе к концу года Клодий был повинен в вопиющем нечестии, вмешавшись, переодевшись женщиной, в некоторые особо священные обряды, которые римские матроны привыкли совершать в честь "Доброй богини". У него были влиятельные друзья, и была предпринята попытка прикрыть его, чему Цицерон, искренне возмущенный порочностью этого человека, похоже, воспротивился. В конце концов он предстал перед судом присяжных, который был специально укомплектован по этому случаю. Его защита заключалась в *валиби*, то есть в попытке доказать, что он находился в другом месте в ту ночь, когда, как утверждалось, неправильно вел себя в Риме. Он привел свидетелей, которые поклялись, что видели его в то самое время в Интерамне, городе в Умбрии, расположенном по меньшей мере в двух днях пути от Рима. Чтобы опровергнуть это свидетельство, обвинение выдвинуло Цицерона. Когда он выступил вперед, сторонники обвиняемого подняли вой неодобрения. Но присяжные сделали ему высокий комплимент, поднявшись со своих мест, и шум прекратился. Он показал, что Клодий был в его доме утром того дня, о котором идет речь.

Клодий был оправдан. Если улики имели какое-то отношение к результату, то его спасло поведение Цезаря. Предполагаемое вторжение произошло именно в его доме, и он убедился, проведя частный допрос его обитателей, что обвинение соответствует действительности. Но теперь он заявил, что вообще ничего не знает об этом деле. Вероятно, действительно сильное влияние на ход дела оказали деньги, которые Красс щедро распределил среди присяжных. Факт наличия денег действительно был печально известен. Некоторые из присяжных притворились, что опасаются за свою жизнь, и попросили прислать охрану. "Охрану! - сказал Катул одному из них. - Зачем вам понадобилась охрана? что деньги не должны быть взяты у вас?"

Но Клодий, хотя и сбежал, так и не простил человека, против которого были даны показания. Цицерон тоже чувствовал, что между ними идет война на ножах. На первом заседании Сената после завершения судебного процесса он резко атаковал своего старого знакомого. "Лентул, - сказал он, - был дважды оправдан, и Катилина дважды, и теперь этот третий преступник был выпущен своими судьями на свободу. Но, Клодий, не пойми превратно то, что произошло. Ваши судьи держали вас в тюрьме, а не в городе; они намеревались не держать вас в стране, а лишить вас привилегии изгнания. Тогда ободритесь, отцы. Никакое новое зло не обрушилось на нас, но мы обнаружили зло, которое существует. Один злодей предстал перед судом, и результат показал нам, что злодеев больше, чем один".

Клодий попытался подшутить над своим противником. "Вы прекрасный джентльмен, - сказал он, - вы были в Байе" (Байе был модным местом отдыха на кампанском побережье). "Что ж, - сказал Цицерон, - это лучше, чем быть на богослужении "матрон"". И нападки и остроты продолжались. "Ты купил прекрасный дом". (Цицерон потратил крупную сумму денег на дом на Палатине и, как было известно, несколько подорвал свои средства, поступив таким образом.) "У вас покупали присяжных". - Они не поставили вас в известность, хотя вы говорили под присягой. "Да, двадцать пять дали мне кредит доверия" (двадцать пять присяжных проголосовали за обвинительный вердикт; тридцать два - за оправдательный), "но ваши тридцать два не дали вам ничего, потому что они получили бы свои деньги обратно". Сенат разразился аплодисментами, а Клодий сел молчаливый и сбитый с толку.

О том, как Клодий ухитрился обеспечить себе должность трибуна, выгодную позицию, с которой он надеялся осуществить свою месть, уже рассказывалось в очерке о Цезаре. Цезарь действительно был ответственен за все, что было сделано. Именно он дал возможность Клодию действовать; и он позволил ему "действовать, когда тот мог остановить его движением пальца. Он был полон решимости доказать Цицерону, что он мастер. Но он так и не проявил себя после первого вмешательства в дело усыновления. Он просто позволил Клодию беспрепятственно исполнять свою волю.

Клодий действовал с большим мастерством. Он предложил различные законы, которые были настолько популярны, что Цицерон, хотя и знал, что они будут обращены против него самого, не осмелился выступить против них. Затем последовало предложение, адресованное непосредственно ему. "Любой человек, который без суда и следствия предаст смерти римского гражданина, подвергается огню и воде". (Это была форма приговора к изгнанию. Никому не разрешалось под страхом смертной казни подвергать осужденных огню и воде на определенном расстоянии от Рима.) Цицерон сразу же облачился в убогую одежду, в которой обвиняемые обычно пытались вызвать сострадание своих сограждан. Двадцать тысяч

представителей высших классов поддерживали его своим присутствием. Сам Сенат, по ходатайству одного из трибунов, объявил по нему этот странный траур.

Консулами того года были Габин и Пизон. Первый был известен своей враждебностью, со вторым Цицерон надеялся подружиться, тем более что тот был родственником мужа его дочери. Он живо описывает беседу с ним. "Было почти одиннадцать часов утра, когда мы пришли к нему. Он вышел нам навстречу из грязной лачуги, в домашних тапочках и с закутанной головой. Из рта у него отвратительно пахло вином, но он извинился, сославшись на состояние своего здоровья, которое, по его словам, вынуждало его принимать лекарства, в состав которых входило вино". Его ответ на просьбу посетителей (поскольку Цицерона сопровождал его зять) был, по крайней мере, похвально откровенным. "Мой коллега Габиний находится в крайней бедности и не знает, куда обратиться. Без провинции он, должно быть, разорен. Провинцию, которую он надеется получить с помощью Клодия, но это должно быть благодаря моим действиям с ним. Я должен потакать его желаниям, точно так же, как ты, Цицерон, потакал своему коллеге, когда был консулом. Но на самом деле нет никаких причин, по которым вы должны искать защиты у консула. Каждый должен позаботиться о себе сам".

За неимением консулов все еще оставалась некоторая надежда, что Помпея удастся склонить к вмешательству, и Цицерон добился встречи с ним. Плутарх говорит, что он выскользнул через заднюю дверь, чтобы не встречаться с ним; но по собственному свидетельству Цицерона, встреча была разрешена. "Когда я бросился к его ногам" (я полагаю, он имеет в виду, что унизил себя, попросив о таком одолжении), "он не смог поднять меня с земли. По его словам, он ничего не мог сделать против воли Цезаря.

Теперь Цицерону предстояло выбирать между двумя путями. Он мог остаться и с помощью своих друзей сделать все возможное, чтобы воспротивиться принятию закона. Но было хорошо известно, что это закончилось бы чем-то вроде открытого сражения на улицах Рима. Клодий и его сторонники были готовы осуществить свое предложение силой оружия и не уступили бы ничему, кроме превосходящих сил. Было возможно, даже вероятно, что в таком конфликте Цицерон одержал бы победу. Но он уклонился от суда не из трусости, ибо у него хватало мужества, когда того требовали обстоятельства, даже не из нежелания рисковать жизнями своих друзей, хотя это его несколько тяготило, а главным образом потому, что ему не хотелось признавать, что свобода в Риме становится невозможной и что требуется сильная рука повелителя, чтобы обеспечить хоть какую-то безопасность жизни и собственности. Другой путь состоял в том, чтобы предвосхитить приговор и отправиться в добровольное изгнание. Это был путь, на котором настаивали его самые могущественные друзья, и это был путь, который он выбрал. Он покинул Рим, намереваясь отправиться на Сицилию, где, как он знал, его ждет самый радушный прием.

Сразу же после его отъезда Клодий официально предложил его изгнать. "Пусть будет принято решение, - так гласило предложение, - что, видя, что Марк Туллий Цицерон предавал римских граждан смерти без суда и следствия, подделав для этого авторитет сената, что ему запрещено гореть в огне и воде; что никто не должен укрывать или принимать его под страхом смерти; и что с каждым, кто пошевелится, проголосует или предпримет какие-либо шаги для его отзыва, будут обращаться как с врагом общества". Законопроект был принят, расстояние, на котором он должен был действовать, было установлено на уровне четырехсот миль. Дома изгнанного

человека были стерты с лица земли, на месте особняка на. Палатин, посвятивший себя Свободе. Его имущество было частично разграблено, частично продано с аукциона.

Цицерон тем временем поспешил на юг Италии. Он нашел приют на некоторое время на ферме друга недалеко от Вибо в Брутии (ныне Абруцци), но счел необходимым покинуть это место, поскольку оно находилось в установленных пределах. Сицилия была запрещена ему ее губернатором, который, хотя и был его личным другом, не желал вызывать недовольство правящей партии. Афины, которые по многим причинам он хотел бы выбрать местом своего изгнания, были небезопасны. Там у него были злейшие враги, люди, замешанные в заговоре Катилины. Это место тоже находилось неподалеку, и хотя на этом не очень строго настаивали — на самом деле, он действительно провел большую часть своего изгнания в пределах предписанного лимита, — это могло в любой момент стать средством раздражения. Атик пригласил его поселиться в его резиденции в Бутротуме в Эпире (ныне Албания). Но это предложение пришлось ему не по вкусу. Он находился в стороне и был бы очень унылым без присутствия своего хозяина, который все еще находился в Риме и, по-видимому, намеревался там остаться. Пробыв около двух недель в доме друга недалеко от Диррахия — самого города, где он когда-то был очень популярен, но, опасаясь навлечь на него какие-нибудь неприятности, отказался въезжать — он перебрался в Грецию и в конце концов обосновался в Фессалониках.

Много времени спустя он рассказывает нам о странном сне, который, по-видимому, принес ему некоторое утешение в то время. Большую часть ночи я пролежал без сна, но к утру погрузился в тяжелый сон. Я уже собирался отправиться в путь, но мой хозяин не позволил меня разбудить. Однако в семь часов я встал и рассказал своему другу этот сон. Мне казалось, что я безутешно блуждаю в каком-то уединенном месте, когда великий Мариус встретил меня. С ним были его ликторы, их *фасции* были увиты гнедыми. "Почему ты такой грустный?" - спросил он меня. "Я был несправедливо изгнан из своей страны", - ответил я. Затем он взял меня за руку и, повернувшись к ближайшему ликтору, попросил его отвести меня в его собственный Мемориальный зал. "Там, - сказал он, - ты будешь в безопасности". Его друг заявил, что этот сон предвещает скорое и почетное возвращение. Довольно любопытно, что именно в Зале Мариуса был фактически предложен и принят указ об отмене приговора об изгнании.

По большей части он был ужасно несчастен и подавлен. В письме за письмом он изливал Аттикусу свои страхи, жалобы и желания. Почему он послушался дурного совета своих друзей? Он хотел остаться в Риме и уладить ссору. Почему Гортензий посоветовал ему прекратить борьбу? Должно быть, это была ревность, ревность к тому, кого он знал как более успешного адвоката, чем его самого. Почему Аттикус препятствовал его планам, когда он думал покончить со всеми своими проблемами, убив себя? Почему все его друзья, почему сам Аттикус был так равнодушен к его делу? В одном письме он искусно упрекает себя в том, что в прошлом пренебрегал своими друзьями как причиной их нынешнего безразличия. Но упрек, конечно, действительно направлен в их адрес.

"Если когда-нибудь, - пишет он в одном письме, - судьба вернет меня в мою страну и к вам, я, безусловно, позабочусь об этом для всех моих друзей; никто не будет рад больше, чем вы. Весь мой долг перед вами, долг, которого, должен признаться, в прошлом мне прискорбно недоставало, будет исполнен так добросовестно, что вы почувствуете, что я был возвращен вам в той же степени, в какой я буду возвращен моему брату и моим детям. За все, что я причинил вам зла, и даже за то, что я причинил вам зло, простите меня; ибо я причинил себе гораздо

большее зло. Я пишу это не потому, что не знаю, что вы испытываете величайшее беспокойство из-за меня; но если бы вы были обязаны любить меня так сильно, как вы на самом деле любите меня и любили раньше, вы бы никогда не позволили мне лишиться мудрых советов, которыми вы в изобилии располагаете ". Это, возможно, немного неясно, поскольку, безусловно, несколько утонченно; но Цицерон имеет в виду, что Атик не интересовался своими делами так сильно, как чувствовал бы себя обязанным, если бы он (Цицерон) был менее небрежен к своим дружеским обязанностям.

Другой корреспондентке, своей жене Теренции, он излил свое сердце еще более свободно. "Не думайте, - пишет он в одном из своих писем к ней, - что я пишу более длинные письма другим, чем вам, за исключением того, что я действительно получил какое-то длинное сообщение, на которое, как я чувствую, должен ответить. На самом деле мне нечего писать; и в наши дни я нахожу это самой трудной обязанностью. Когда я пишу тебе и моей дорогой Туллии, я никогда не могу обойтись без потоков слез. Я вижу, что ты совершенно несчастен, а я хотел, чтобы ты был полностью счастлив. Я мог бы сделать тебя таким. Я мог бы сделать тебя таким, если бы был менее робким Радость моего сердца, мое глубочайшее сожаление при мысли о том, что вы, к кому все привыкли обращаться за помощью, теперь оказались вовлечены в такое горе, в такое бедствие! и что я должен быть виноват, я, который спасал других только для того, чтобы погубить себя и моих близких!... Что касается расходов, пусть их возьмут на себя другие, кто может, если они захотят. И если ты любишь меня, не расстраивай свое здоровье, которое и так, я знаю, пошатнулось. Всю ночь, весь день я думаю о тебе. Я вижу, что вы предпринимаете все мыслимые усилия ради меня; я только боюсь, что вы не сможете их вынести. Я осознаю, что все зависит от вас. Если мы хотим добиться успеха в том, чего вы хотите и сейчас пытаетесь достичь, позаботьтесь о своем здоровье ". В другом письме он пишет: "Я несчастен! подумать только, что такой добродетельный, такой верный, такой честный, такой добрый человек должен так страдать, и все из-за меня. И моя дорогая Туллия тоже, что она так несчастна из-за отца, в котором когда-то нашла столько счастья. А что мне сказать о моем дорогом маленьком Цицероне? Что он должен испытывать самую горькую печаль и беспокойство, как только начинает что-либо чувствовать! Если бы все это действительно было, как вы пишете, работой судьбы, я могла бы перенести это немного легче; но все это произошло по моей вине, когда я думала, что меня любят мужчины, которые на самом деле завидовали мне, и держалась в стороне от других, которые на самом деле были на моей стороне ".

Возможно, это хорошая возможность сказать кое-что о самой леди. Кем она была, мы точно не знаем. В Риме была семья с таким именем, самым известным из которых, возможно, был Теренций Варрон [7], чья опрометчивость навлекла на его страну ужасное бедствие - поражение при Каннах. У нее была сводная сестра, вероятно, старше ее, по имени Фабия, которая была девственной весталкой. Она привезла своему мужу, за которого вышла замуж около 78 года до н.э., приличное приданое, около трех тысяч пятисот фунтов. Мы видели, с какой нежностью Цицерон пишет ей во время своего изгнания. Она - его любимая, его единственная надежда; при одной мысли о ней его глаза наполняются слезами. И она, кажется, заслужила все его похвалы и привязанность, прилагая все усилия, чтобы помочь ему, и готова была разориться, чтобы найти ему средства, в которых он нуждался. Сохранилось четыре письма этого периода. Есть еще двадцать писем, относящихся к 50-47 годам до н.э. Более ранние из них достаточно нежные. Когда он собирается вернуться в Рим из своей провинции (Киликии), она все еще остается самой любезной, самой дорогой из женщин. Затем мы начинаем замечать признаки прохлады, но ничего такого, что поразило бы нас, если бы мы не знали, что произойдет потом.

Он оправдывает редкость своих писем. Нет никого, через кого их можно было бы отправить. Если бы они были, он был готов написать. Приветствия стали официальными, исключены превосходные степени "дорогой", "нежнейший", "наилучший". "Вы рады, - пишет он после того, как битва при Фарсалии разрушила его надежды, - что я невредимым вернулся в Италию; я надеюсь, что вы можете продолжать радоваться". "Не думай приезжать, - продолжает он, - это долгое путешествие и не очень безопасное; и я не вижу, какая от тебя будет польза, если ты приедешь". В другом письме он дает указания относительно подготовки своего дома в Тускулуме к приему гостей. Письмо датировано первым октября, и он со своими друзьями, вероятно, приедет погостить на несколько дней седьмого. Если в ванной комнате нет ванны, ее необходимо предоставить. Приветствие самое краткое и формальное. Между тем из того, что он пишет Аттикусу, мы знаем, что он был очень недоволен поведением дамы. В основе их ссоры лежали денежные вопросы. Он считает, что она была беспечной и экстравагантной. Хотя он был богатым человеком, все же он часто нуждался в наличных деньгах, и на помощь Теренции нельзя было положиться. Его досада выливается в письмо к Аттику. "Что касается Теренции — есть и другие вещи, о которых я не говорю, — что может быть хуже этого? Вы написали ей, чтобы она прислала мне счета на сто восемь фунтов, потому что на руках осталось так много денег. Она прислала мне всего девяносто фунтов и добавила записку, что это все. Если бы она была способна извлечь такой пустяк из столь незначительной суммы, разве вы не понимаете, что бы она сделала в делах действительно важных? Ссора закончилась разводом, явлением гораздо более распространенным, чем, к счастью, среди нас, но все же это болезненный и позорный конец союза, который длился более двадцати пяти лет. Теренция надолго пережила своего мужа, скончавшись в глубокой старости (как говорили, на сто три года), далеко в царствование Августа; и после значительного супружеского опыта, если это правда, что она вышла замуж за трех или даже, по некоторым данным, за четырех других мужей.

[Сноска 7: Другой человек с таким же именем был выдающимся литератором времен Цицерона.]

У дочери Теренции, Туллии, была короткая и несчастливая жизнь. Она родилась, по-видимому, около 79 года до нашей эры и в пятнадцать или шестнадцать лет вышла замуж за молодого римского аристократа по имени Пизон Фруги. "Лучший, преданнейший из людей", - называет его Цицерон. Он умер в 57 году до нашей эры, и Рим потерял, если верить похвалам его тестя, многообещающего оратора. "Я никогда не знал никого, кто превзошел бы моего зятя Пизона в усердии, трудолюбии и, могу честно сказать, в способностях". На следующий год она вышла замуж за некоего Крассипеса, действительно очень темную личность. Мы ничего не знаем о том, что это был за человек и что с ним стало. Но в 50 году до н.э. Туллия была свободна снова выйти замуж. Ее третье предприятие было придумано ею самой или ее матерью. Ее отец находился в своем правительстве в Киликии и с удивлением узнал об этом деле. "Поверь мне, - пишет он Аттику, - я не мог ожидать ничего меньшего. Тиберий Нерон сделал мне предложение, и я послал друзей обсудить этот вопрос с дамами. Но когда они добрались до Рима, обручение уже состоялось. Надеюсь, это будет лучшая партия. Мне кажется, леди были очень довольны покладистостью и вежливостью молодого джентльмена, но не ищите колючек. Однако "шипы" были налицо. Друг, который знакомил Цицерона с новостями Рима, рассказал ему об этом, хотя он и облакает свой смысл в обычные вежливые фразы. "Я поздравляю вас, - пишет он, - с вашим союзом с человеком, который, я действительно верю, достойный человек. Я действительно так думаю о нем. Если и были какие-то поступки, в которых он не отдавал себе отчета, то теперь они в прошлом; любые следы, которые могут остаться, скоро, я уверен, исчезнут, благодаря вашему

доброму влиянию и его уважению к Туллии. Он не оскорбителен в своих ошибках и, кажется, не замедлил оценить лучшие вещи ". Туллия, однако, не добилась большего успеха, чем другие жены, в исправлении своего мужа. Ее брак, похоже, был несчастлив почти с самого начала. Примерно через три года ему пришел конец в результате развода. Вскоре после этого Туллия, которой могло быть немногим больше тридцати, умерла, к безутешному горю своего отца. "Мое горе, - пишет он Аттику, - превосходит всякое утешение. И все же я сделал то, чего, безусловно, никто никогда не делал раньше, написал трактат для собственного утешения. (Я пришлю вам книгу, если переписчики закончат ее.) И действительно, ничего подобного этому нет. Я пишу день за днем, целыми днями напролет; не то чтобы я мог извлечь из этого какую-то пользу, но это занимает меня немало, на самом деле совсем немного; сила моего горя слишком велика для меня. Тем не менее я успокаиваюсь и делаю все возможное, чтобы успокоить, вернее, не свои чувства, а, если могу, свое лицо ". И еще: "Рядом с твоей компанией для меня нет ничего более приятного, чем одиночество. Тогда все мои беседы сводятся к книгам; но это прерывается слезами; я сопротивляюсь им, как могу; но в настоящее время у меня ничего не получается ". Одно время он думал найти утешение в необычных почестях умершим. Он построит святилище, божеством которого должна быть Туллия. "Я полон решимости, - пишет он, - построить святилище. От этой цели меня не отвратить. ... Если строительство не будет завершено этим летом, я буду считать себя виноватым ". Он останавливается на проекте. В одном из своих писем он умоляет Аттика купить для здания несколько колонн из хиосского мрамора. Он обсуждает вопрос о месте для строительства. Несколько садов недалеко от Рима кажутся ему удобным местом. Он должен быть удобно расположен поблизости, если хочет привлечь верующих. "Я бы скорее продал или заложил дом, или жил бы на скромные средства, чем разочаровался". Тогда он подумал, что построит его на территории своей виллы. В конце концов, он вообще не стал его строить. Возможно, лучшим воспоминанием о Туллии является прекрасное письмо, в котором один из друзей Цицерона пытается утешить его в его утрате. "Она жила, - говорит он, - пока жизнь стояла того, чтобы жить, пока существовала республика". Я должен привести один отрывок, хотя он часто цитировался ранее. "Я хочу рассказать вам кое о чем, что принесло мне немалое утешение, надеясь, что это также может несколько уменьшить вашу печаль. На обратном пути из Азии, когда я плыл из Эйгины в Мегару, я начал размышлять о местах, которые лежали вокруг меня. Позади меня была Эгина, передо мной Мегара; по правую руку от меня Пирей, по левую Коринф; все города, которые когда-то были на пике процветания, но теперь лежат разрушенными и опустошенными на наших глазах. Таким образом, я начал размышлять: "Странно! неужели мы, бедные создания нашего времени, плохо перенесем, если кто-то из нас умрет от болезни или будет сражен мечом, мы, чья жизнь обречена быть короткой, в то время как мертвые тела стольких людей лежат здесь, заключенные в такой маленький компас?"

Но я забегаю вперед. Когда Цицерон был в изгнании, республике оставалось жить еще несколько лет; и были надежды, что она вообще выживет. Перспективы изгнанника тоже начали проясняться. В настоящее время Цезарь достиг вершины своих амбиций и был занят своей провинцией Галлия. Помпей поссорился с Клодием, которого считал совершенно неуправляемым. А друг Цицерона, некто Милон, о котором мне придется рассказать подробнее позже, будучи самым активным из всех, никогда не переставал агитировать за его отзыв. Было бы утомительно вспоминать все перипетии этой борьбы. Еще в мае Сенат принял резолюцию, отменяющую указ о высылке, известие об этом вызвало взрыв радости в городе. В то время разыгрывалась драма Акция "Теламон", и зрители аплодировали каждому сенатору, когда он входил в Сенат, и вставали со своих мест, чтобы поприветствовать консула, когда он входил. Но

энтузиазм достиг своего апогея, когда актер, игравший роль Теламона (изгнание которого из своей страны было частью действия драмы), со значительным акцентом произнес следующие строки:

Что? он — человек, который все еще с непоколебимым сердцем
Сражался за свою страну, кто в опасные дни
Не пощадил ни жизни, ни состояния и даровал
Большая помощь, когда она больше всего нуждалась; который превзошел
В остроумии всех других мужчин. Отец Богов,
Его дом — да, *его!*—Я видел пожираемых огнем;
И вас, неблагодарных, глупых, безрассудных
Из всего, чем он служил вам, смог вынести
Видеть его изгнанным; да, и по сей час
Страдай, чтобы он продлил день изгнания.

По-прежнему возникало препятствие за препятствием, и только четвертого августа указ прошел все свои стадии и окончательно стал законом. Цицерон, который ждал в ближайшей к Италии точке Греции, чтобы воспользоваться первой возможностью для возвращения, был проинформирован своими друзьями, что теперь он может безопасно отправиться в путь. Он отплыл соответственно в тот самый день, когда был издан указ, и на следующее утро достиг Брундизия. Случилось так, что в этот день праздновалось основание колонии, а также день рождения Туллии, которая проделала такой долгий путь, чтобы встретиться со своим отцом. Горожане с восторгом наблюдали за этим совпадением. Восьмого числа из Рима пришли радостные вести, и Цицерон отправился в столицу. "На всем протяжении моего пути города Италии отмечали день моего прибытия как праздник; дороги были запружены депутациями, которые были присланы со всех концов, чтобы поздравить меня. Когда я приблизился к городу, мой приезд был отмечен таким скоплением людей, такими сердечными поздравлениями, что невозможно поверить. Путь от ворот, восхождение на Капитолий, возвращение в мой дом представляли собой такое зрелище, что в самый разгар моей радости я не мог не сожалеть о том, что такой благодарный народ все же был так несчастен, так жестоко угнетен". "В тот день, - сказал он выразительно, - этот день был для меня равнозначен бессмертию".

ГЛАВА XI.

ДРАКА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.

Клодий, который возглавил отправку Цицерона в изгнание, конечно, был в ярости от его возвращения и продолжал проявлять к нему непрестанную враждебность. Его первой заботой было воспрепятствовать восстановлению своей собственности. Он ухитрился втянуть по крайней мере часть этого в значительные трудности. Дом Цицерона на Палатинском холме был снесен, а территория посвящена — так, по крайней мере, утверждал Клодий — Богине Свободы. Если это было правдой, это было священно навсегда; это не могло быть восстановлено. Вопрос был в том, было ли это правдой? Этот вопрос был передан понтификам как судьям в таких вопросах. Цицерон представил им аргументы, и они вынесли решение в его пользу. Теперь действовать должен был Сенат. Было внесено предложение о восстановлении этого места. Клодий воспротивился этому, выступая в течение трех часов, пока гнев слушателей не вынудил его закончить свою речь. Один из трибунов, выступавший в его интересах, наложил вето на это

предложение, но испугался и отозвал его. Но Клодий был не на пределе своих возможностей. Группа вооруженных головорезов под его командованием выгнала рабочих, восстанавливавших дом. Несколько дней спустя он совершил нападение на самого Цицерона. Он был ранен в последовавшей схватке и, по словам Цицерона, мог быть убит, "но, - добавляет он, - я устал от хирургических вмешательств".

Помпей был еще одним объектом его ненависти, поскольку он прекрасно знал, что без его согласия его великий враг не был бы восстановлен. Цицерон живо описывает сцену в Сенате, в которой эта ненависть была бурно выражена. Помпей заговорил, или, вернее, хотел заговорить, потому что, как только он поднялся, наемные головорезы Клодия закричали на него. На протяжении всей его речи было одно и то же; его прерывали не только крики, но и оскорбления и проклятия. Когда он подошел к концу — а надо признать, что он проявил мужество; его ничто не пугало: он говорил свое слово и иногда даже добивался тишины, — тогда Клодий поднялся. С нашей стороны он был встречен таким шумом (ибо мы твердо решили отплатить ему тем же, что и он сам), что он не мог собраться с мыслями, контролировать свою речь или сохранять невозмутимость. Это продолжалось трех часов, когда Помпей только что закончил свою речь, до пяти. Тем временем в адрес Клодия и его сестры выкрикивались всевозможные оскорбления, вплоть до непристойных стихов. Побледнев от ярости, он повернулся к своим сторонникам и посреди всеобщего шума спросил их: "Кто это убивает людей голодом?" "Помпей", - ответили они. "Кто хочет поехать в Александрию?" - "Помпей", - снова ответили они. "И с кем жет^ы хочешь пойти?" - "Красс", - сказали они. Около шести часов отряд Клодия, казалось, по какому-то сигналу, начал плевать в нашу сторону. Теперь наша ярость вырвалась наружу. Они попытались согнать нас с места, и мы пошли в атаку. Сторонники Клодия бежали. Он был отброшен от преследователей. Затем я сбежал, чтобы не случилось чего-нибудь похуже".

Третьим врагом, которого Клодию суждено было считать более опасным, чем Цицерона или Помпея, был Анний Милон. Майло происходил по материнской линии из старинной латинской семьи. Имя, под которым он был широко известен, вероятно, было прозвищем, данным ему, возможно, в шутку в честь Мило из Кротоны, знаменитого борца, который нес на плечах быка и съел его за один день. Ибо Милон был великим воином, прирожденным гладиатором, тем, кто был за то, чтобы разрубать все политические узлы мечом. Он был честолюбив и стремился к должности консула; но это звание было ему едва ли по силам. Его семья была не из знатных; он был по уши в долгах; у него не было ни красноречия, ни способностей. Следовательно, его лучшим шансом было привязаться к какому-нибудь могущественному другу, благодарность которого он мог бы заслужить. Именно такого друга он, казалось, нашел в Цицероне. Он видел, что состояние великого оратора было очень невелико, но, вероятно, оно снова поднимется, и он был бы благодарен тем, кто помог ему в его невзгодах. Отсюда усилия Милона вернуть его из изгнания и отсюда ссора с Клодием. У этих двух мужчин были свои банды наемных, или, скорее, купленных, головорезов в городе, и они часто вступали в стычки. Каждый обвинял другого в нападении с целью убийства. Каждый публично заявил, что он должен при первой возможности предать своего врага смерти. То, что, вероятно, было случайным столкновением, привело к кризису.

Двадцатого января Мило покинул Рим, чтобы посетить Ланувий, латинский городок на Аппиевой дороге, примерно в пятнадцати милях к югу от Рима. Это был маленький городок, сильно пришедший в упадок с тех давних времен, когда его восстание против Рима считалось событием, достойным упоминания; но в нем находился один из самых знаменитых храмов

Италии, жилище Юноны Спасительницы, чье изображение в одеянии из козьей шкуры, причудливых башмаках с загнутыми вверх ножнами, с копьем в одной руке и маленьким щитом в другой обладало особой святостью. Мило был уроженцем этого места и его диктатором, и в данном случае его долгом было назначить главного жреца храма. Утром он был на заседании Сената и оставался там до конца заседания. Вернувшись домой, он переоделся в платье и обувь, подождал некоторое время, как и положено ждать мужчинам, говорит Цицерон, пока его жена собиралась, а затем тронулся в путь. Он путешествовал в экипаже своей жены и друга. Несколько служанок и стайка мальчиков-певчих, принадлежавших его жене, последовали за ним. Много говорили об этой огромной свите женщин и мальчиков, как о доказательстве того, что у Мило не было намерения, когда он начинал, вступать в схватку со своим злейшим врагом. Но с ним было также несколько вооруженных рабов и несколько гладиаторов, среди которых были два знаменитых мастера своего дела. Он проехал около десяти миль, когда встретил Клодия, который выступал с речью перед городским советом Ариции, другого латинского города, более близкого к столице, чем Ланувий, и теперь возвращался в Рим. Он был верхом, вопреки своему обычаю пользоваться повозкой, и с ним было тридцать рабов, вооруженных мечами. Ни одному выдающемуся человеку и в голову не приходило путешествовать без таких сопровождающих.

Двое мужчин обогнали друг друга, но гладиаторы Милона поссорились с рабами Клодия. Клодий вернулся и обратился к агрессорам с угрозами. Один из гладиаторов в ответ ранил его мечом в плечо. Несколько рабов Мило поспешили обратно, чтобы помочь своим товарищам. Отряд Клодия был разбит, а сам Клодий, измученный своей раной, укрылся в придорожной таверне, которая, вероятно, знаменовала собой первый выезд из Рима. Милон, решив, что теперь он зашел так далеко, что может пойти еще немного дальше и навсегда избавиться от своего врага, приказал своим рабам вытащить Клодия из его убежища и прикончить его. Это было сделано незамедлительно. Цицерон действительно заявил, что рабы сделали это без приказа и в уверенности, что их хозяин был убит. Но Рим поверил в другую историю. Тело убитого некоторое время лежало на дороге без присмотра, так как все его сопровождающие либо пали в борьбе, либо попрятались в укромных местах. Затем римский дворянин, направлявшийся в город, приказал положить его в свои носилки и отвезти в Рим, куда оно прибыло незадолго до наступления темноты. Оно было торжественно выставлено в холле его особняка, и его вдова стояла рядом, показывая раны сочувствующей толпе, которая собралась посмотреть на его останки. На следующий день волнение усилилось. Двое трибунов предложили перенести тело на рыночную площадь и положить на помост, с которого оратор обычно обращался к народу. Затем, по предложению другого Клодия, нотариуса и клиента семьи, было решено оказать ему почетную честь. "Не хорони и не сжигай человека в черте города" был одним из старейших римских законов. Клодий, любимец народа, должен быть исключением. Его тело было перенесено в зал Гостилия, обычное место заседаний сената. Скамейки, столы, помост, с которого выступали ораторы, деревянные таблички, на которых клерки писали свои заметки, были собраны, чтобы сложить погребальную кучу, на которой предстояло предать тело земле. Зал загорелся и сгорел дотла; другое большое здание, примыкавшее к нему, Зал Порция, чудом избежало той же участи. Толпа напала на несколько домов, в том числе на дом Мило, и была с трудом отбита.

Ожидалось, что Милон добровольно отправится в изгнание; но поджог здания сената вызвал бурную реакцию чувств, которой он воспользовался. Он вернулся в Рим и организовал предвыборную кампанию на пост консула, сделав денежный подарок (который можно оценить в

двадцать пять шиллингов) каждому избирателю. В городе царил постоянный шум; хотя время вступления в должность новых консулов давно прошло, они даже не были избраны, и не было никакой перспективы, такова была жестокость соперничающих кандидатов, что они были таковыми. В конце концов Сенат обратился к единственному человеку, который, казалось, был способен справиться с ситуацией, и назначил Помпея единственным консулом. Помпей предложил учредить для рассмотрения дела Милона специальный суд с особой процедурой. Были строго установлены сроки, которые оно должно было занять. Три дня должно было быть отведено на допрос свидетелей, один - на выступления адвокатов, причем обвинению отводилось всего два часа, защите - три. После тщетного сопротивления со стороны друзей Милона предложение было принято, Помпей пригрозил применить силу в случае необходимости. Народные настроения теперь были очень настроены против обвиняемого. Помпей заявил, что, опасаясь за свою жизнь, он отказался прибегнуть к насилию; отказался явиться в сенат, опасаясь, что его убьют, и даже покинул свой дом, чтобы жить в своих садах, которые могли бы более эффективно охраняться солдатами. В Сенате Мило обвинили в том, что у него было оружие под одеждой, обвинение, которое он должен был опровергнуть, задрав нижнюю одежду. Затем вперед выступил вольноотпущенник и заявил, что он и еще четверо других действительно видели убийство Клодия и что, упомянув об этом факте, они были схвачены и заперты на два месяца в конторе Милона. Наконец, офицер шерифа, если мы можем так называть его, заявил, что другой важный свидетель, один из рабов Мило, был насильно вырван у него из рук сторонниками обвиняемого.

Восьмого апреля начался судебный процесс. Первым вызванным свидетелем был друг, который был с Клодием в день его смерти. Из-за его показаний дело против Мило выглядело очень мрачным, и адвокат, который должен был провести перекрестный допрос от имени обвиняемого, был встречен такими гневными криками, что ему пришлось укрыться на скамье подсудимых рядом с председательствующим судьей. Майло был вынужден просить о такой же защите.

Помпей решил, что на будущее следует поддерживать лучший порядок, и занял войсками все подходы к суду. Остальные свидетели были заслушаны и подвергнуты перекрестному допросу без перерыва. 11 апреля был последний день судебного процесса. Со стороны обвинения было произнесено три речи; со стороны защиты - только одна, и та Цицероном. Было предложено, чтобы он занял смелую позицию и заявил, что Клодий был предателем и что гражданин, убивший его, заслужил блага своей страны. Но он решил, что лучше пойти другим путем и показать, что агрессором был Клодий, намеренно устроивший засаду Милону, о предполагаемом путешествии которого в Ланувий он, конечно, знал. К несчастью для его клиента, дело сорвалось. Милон, очевидно, покинул Рим, и конфликт произошел гораздо раньше, чем говорилось, потому что тело убитого доставили в столицу не позднее пяти часов пополудни. Это опровергало утверждение о том, что Клодий медлил на обратном пути в Рим до тех пор, пока сгущающаяся темнота не предоставила ему возможность атаковать своих противников. Затем выяснилось, что в свите Мило, помимо женщин и мальчиков, было несколько бойцов. Наконец, был ужасающий факт, установленный, по-видимому, компетентными свидетелями, что Клодия вытащили из его укрытия и казнили. Цицерон тоже потерял присутствие духа. Вид города, в котором все магазины были закрыты в ожидании беспорядков, присутствие солдат в суде и шум толпы, яростно враждебной обвиняемому и его защитнику, привели его в замешательство, и он заговорил слабо и неуверенно. Замечательная речь, которая дошла до нас и якобы была произнесена по этому случаю, на самом деле была

написана позже. Присяжные, которые по общему согласию были признаны одними из лучших, когда-либо собранных, вынесли обвинительный вердикт. Милон был сослан в Марсель — наказание, которое он, по-видимому, перенес очень легко, если это правда, что, когда Цицерон извинился за недостаток мужества, который испортил эффект его защиты, он ответил: "Все было к лучшему; если бы ты говорил лучше, я бы никогда не попробовал этих восхитительных марсельских кефалей".

Естественно, кефаль вскоре ему надоела. Когда Цезарь стал хозяином Рима, он надеялся, что его вернут из ссылки. Но Цезарь не хотел его видеть и предпочел оставить там, где он был. Взмешенный таким обращением, он перебрался в Италию и попытался поднять восстание в пользу Помпея. Войска, которых он пытался подкупить, отказались следовать за ним. Он отступил со своими немногочисленными сторонниками на крайний юг полуострова и был там убит.

ГЛАВА XII.

КАТОН, БРУТ И ПОРЦИЯ.

"С самых ранних лет, - так гласит дошедший до нас образ Катона, - он был решителен до упрямства. Лесть встречала грубый отпор, а угрозы - сопротивление. Он никогдане смеялся, и его улыбка была едва заметной. Его нелегко было спровоцировать, но однажды пробудившийся гнев был неумолим. Он учился медленно, но никогда не забывал ни одной однажды приобретенной вещи; он был послушен своим учителям, но хотел знать причину каждой вещи ". Истории, рассказанные о его детстве, подтверждают этот характер. Вот одно из них. Его наставник привел его в дом Суллы. Это было в злые дни Проскрипции, и там были следы кровавой работы, которая там происходила. "Почему никто не убивает этого человека?" он спросил своего учителя. "Потому что, сын мой, они боятся его больше, чем ненавидят", - был ответ. "Почему же тогда, - последовал ответ, - ты не дал мне меч, чтобы я мог освободить свою страну?" Наставник, как можно предположить, увел его в спешке.

Как и большинство молодых римлян, он начал жизнь солдатом и завоевал заслуженное мнение не только своей храбростью, которая действительно была достаточно распространена в нации, покорившей мир, но и своим воздержанием и прилежным исполнением долга. Время его службы закончилось, и он отправился в свои странствия, приняв приглашение царя-данника Галатии, который оказался старым другом семьи, навестить его. Мы получаем интересную маленькую картинку римлянина высшего сословия во время экскурсии. "На рассвете он посылал пекаря и повара в то место, которое намеревался посетить. Они въезжали в город самым неприятным образом, и если у их хозяина случайно не оказывалось в этом месте друга или знакомых, направлялись в гостиницу и там готовились к размещению своего хозяина, никого не беспокоя. Только когда не было постоянного двора, они шли к магистратам и просили угощения; и они всегда были довольны тем, что им назначали. Часто они встречали лишь скудный прием и внимание, не подкрепляя свои требования обычными угрозами, так что Катон по прибытии не обнаружил ничего приготовленного. Не производил более благоприятного впечатления и их хозяин, который спокойно сидел на своем багаже и, казалось, смирился с ситуацией. Иногда, однако, он посылал за городскими властями и говорил: "Вам лучше отказаться от этих низменных привычек, мои негостеприимные друзья; вы не обнаружите, что все ваши посетители - катосы". По крайней мере, однажды он, как ему казалось, был встречен великолепно. Подъезжая к Антиохии, он обнаружил, что по обе стороны дороги выстроились

толпы зрителей. Мужчины стояли в одной компании, мальчики - в другой. Все были в праздничных одеждах. Некоторые — это были магистраты и священники — были в белых одеждах и с гирляндами цветов. Катон, полагавший, что все эти приготовления предназначались для него самого, был раздосадован тем, что его слуги не помешали им. Но вскоре он развеял это заблуждение. Из толпы выбежал старик и, даже не поприветствовав вновь пришедшего, крикнул: "Где вы оставили Деметрия? Когда он придет?" Деметрий был вольноотпущенником Помпея, и на нем отразилось величие его господина. Катон смог только отвернуться, пробормотав: "Жалкое место!"

Вернувшись в Рим, он прошел обычный курс обучения с почестями, всегда исполняя свои обязанности с предельным рвением и добросовестностью и, вероятно, пока он занимал подчиненное место, с большим успехом. Именно тогда, когда потребовалась государственная мудрость, он начал терпеть неудачу.

В деле о заговоре Катилины Катон твердо встал на сторону Цицерона, поддержав предложение предать заговорщиков смерти в мощной речи, единственной из всех произнесенных им речей, которая сохранилась. Такое сохранение произошло благодаря предусмотрительности Цицерона, который поручил самым быстрым авторам, которых он смог найти, заменять друг друга при написании речи. Интересно, что это было началом стенографии.

Катон, как и Цицерон, любил республику и верил в нее; но он был гораздо более бескомпромиссным, возможно, можно сказать, более честным, но, безусловно, менее осмотрительным в претворении своих принципов в жизнь. Он вознамерился воспротивиться сосредоточению власти в руках Помпея и Цезаря, но ему не хватило ни достоинства, ни благоразумия, и он ничего не добился. Когда, например, Цезарь, вернувшись из Испании, обратился в сенат с петицией о разрешении стать кандидатом в консулы, не въезжая в город — въехать в город означало бы отказаться от своих надежд на триумф, — Катон снизошел до того, чтобы использовать искусство обструкции, чтобы противостоять ему. Он до заката выступал против этого предложения, и оно провалилось по чистой случайности. И все же возражения оказались бесплодными. Цезарь, конечно, отказался от пустой чести и обеспечил себе реальность, тем более что люди чувствовали, что его почти не использовали. И поэтому он продолжал действовать, всегда стремясь поступать правильно, но всегда выбирая для этого наихудший способ; стремясь служить своей стране, но всегда ухитряясь нанести ей вред. Даже в том, что, можно сказать, лучше всего подходило ему в его жизни, в уходе из нее (если мы на мгновение примем римский взгляд на мораль самоубийства), он делал не все возможное для Рима. Если бы он хотел жить (ибо Цезарь был готов пощадить его, как он всегда был готов пощадить врагов, которые не могли причинить ему вреда), он все же мог бы сделать добро; в своем поспешном нетерпении от того, что он не одобрял, он предпочел лишить свою страну ее самого честного гражданина.

Мы не должны опускать картину, столь характерную для римской жизни, как рассказ о его последних часах. Последняя армия республики была уничтожена при Тапсе, и Цезарь стал бесспорным властелином мира. Катон тщетно пытался расшевелить жителей Утики, города недалеко от Карфагена, в котором он поселился; когда они отказались, он решил покончить с собой. Родственник Цезаря, который готовился ходатайствовать перед завоевателем за жизни побежденных вождей, попросил Катона помочь ему переработать свою речь. "Ради тебя, - сказал он, - я бы не постыдился сжать его руки и упасть перед ним на колени". "Если бы я хотел

лишить себя жизни от его рук, - ответил Катон, - я бы пошел один просить об этом. Но я отказываюсь жить по милости тирана. Тем не менее, поскольку есть еще триста человек, за которых вы должны заступиться, давайте посмотрим, что можно сделать с этой речью ". Покончив с этим делом, он с любовью попрощался со своим другом, поблагодарив за добрые услуги своего сына и его друзей. Своему сыну он строго-настрого запретил вмешиваться в общественную жизнь. Такую роль, которая была достойна имени Катона, ни один человек не мог взять на себя снова; принять любую другую было бы постыдно. Затем последовала ванна, а после ванны - ужин, на который он пригласил нескольких друзей, городских судей. За едой он сидел, а не полулежал. Таков был его обычай с того рокового дня в Фарсалии. После обеда, за вином, было много ученых разговоров, и они велись не иначе как в веселом тоне. Но когда разговор зашел об одной из любимых максим стоиков: "Только хороший человек свободен; плохие - рабы", Катон высказался с энергией и даже яростью, которые заставили компанию заподозрить некую ужасную решимость. Последовавшее за этим печальное молчание предупредило говорившего о том, что он выдал себя, и он поспешил отвести подозрение, заговорив на другие темы. После обеда он совершил свою обычную прогулку, отдал необходимые распоряжения офицерам, стоявшим на страже, а затем отправился в свою комнату. Здесь он взялся за "Федона", знаменитый диалог, в котором Сократ в тот день, когда ему предстоит выпить яд, рассуждает о бессмертии души. Он почти дочитал книгу, когда, случайно подняв глаза вверх, заметил, что его шпага исчезла. Его сын снял ее, когда он сидел за обедом. Он подозвал раба и спросил: "Кто взял мой меч?" Поскольку мужчина ничего не сказал, он снова взялся за книгу; но через несколько минут, обнаружив, что поиски не ведутся, он снова попросил меч. Последовал еще один перерыв, но его по-прежнему не последовало. Теперь его гнев пробудился. Он яростно упрекал рабов и даже ударил одного из них кулаком, который от удара повредился. "Мой сын и мои рабы, - сказал он, - предадут меня врагу". Он не слушал никаких уговоров: "Я что, сумасшедший, - сказал он, - что у меня отняли руки? Ты собираешься связать мне руки и отдать меня кесарю? Что касается меча, я могу обойтись и без него; мне нужно только задержать дыхание или биться головой о стену. Глупо думать, что ты можешь сохранить жизнь человеку моих лет против его воли. Было сочтено невозможным упорствовать перед лицом такой решимости, и молодой мальчик-раб вернул меч. Катон ощупал оружие и, убедившись, что лезвие прямое, а лезвие безупречное, сказал: "Теперь я сам себе хозяин". Затем он снова прочитал "Федона" от начала до конца, а затем погрузился в такой глубокий сон, что люди, стоявшие снаружи комнаты, слышали его дыхание. Около полуночи он послал за своим врачом и одним из своих вольноотпущенников. Вольноотпущеннику было поручено узнать, отплыли ли его друзья. Он попросил врача перевязать его раненую руку, просьбу, которую его сопровождающие выслушали с восторгом, поскольку это, казалось, свидетельствовало о решимости жить. Он снова послал узнать о своих друзьях и выразил сожаление по поводу плохой погоды, которая, по-видимому, им предстояла. Птицы уже начали щебетать с приближением рассвета, и он погрузился в короткий сон. Вольноотпущенник вернулся с известием, что в гавани тихо. Когда он снова оказался один, он заколол себя мечом, но удар, нанесенный раненой рукой, не был смертельным. Он упал в обморок на кушетку, сбив стоявшую рядом счетную доску, и застонал. Его сын вместе с другими ворвался в комнату, и врач, обнаружив, что рана не смертельна, приступил к ее перевязке. Катон, придя в себя, оттолкнул слуг в сторону и, разорвав рану, испустил дух.

Если конец жизни Катона был самой благородной ее частью, то тем более верно, что слава Брута основана на одном памятном деянии. Действительно, он был известен как

многообещающий молодой человек, над образованием которого прилагались особые усилия и который питал искреннюю любовь к литературе и учености. Казалось бы, он был свободен от некоторых пороков своего времени, но у него были серьезные недостатки. Действительно, единственное событие из его прошлой жизни, с которым мы хорошо знакомы, делает ему очень мало чести. И это, опять же, настолько характерно для одной стороны римской жизни, что о ней следует рассказать несколько подробнее.

Брут женился на дочери некоего Аппия Клавдия, родственника печально известного Клодия, и сопровождал своего тестя в его провинцию Киликию. Он воспользовался возможностью увеличить свои средства, одалживая деньги провинциалам. Следует помнить, что одалживание денег не считалось позорным занятием даже для самых благородных. Давать деньги взаймы под проценты было, действительно, единственным способом инвестирования, помимо покупки земли, который был доступен римскому капиталисту. Но Брут был больше, чем ростовщиком, он был ростовщиком; то есть он стремился выжать из своих должников непомерно высокие проценты. И эта жадность привела его к столкновению с Цицероном.

Некий Скаптий был агентом Брута по предоставлению денег взаймы городу Саламин на Кипре. При правительстве Клавдия Скаптий делал все по-своему. Он был назначен командующим в городе, в его распоряжении было немного кавалерии, и он вымогал у жителей те условия, которые ему нравились, запирая, как нам рассказывают, Сенат в их зале заседаний, пока пятеро из них не умерли от голода. Цицерон слышал об этом чудовищном поступке, когда направлялся в свою провинцию; он безапелляционно отклонил просьбу Скаптия о возобновлении его командования, заявив, что он решил не предоставлять такие должности никому, кто занимается торговлей или ростовщицеством. Тем не менее, ради Брута — а еще некоторое время не выходило наружу, что Брут был принципалом, — он позаботится о том, чтобы деньги были выплачены. Город был готов это сделать, но затем возник вопрос, представляющий интерес. Был опубликован указ о том, что эта сумма никогда не должна превышать двенадцати процентов или одного процента ежемесячно, поскольку это обычный способ оплаты. Но Скаптий сослался на свою облигацию, которая предусматривала выплату четырех процентов ежемесячно, а также на специальный указ о том, что правила, ограничивающие проценты, не должны применяться к Саламину. Город запротестовал, заявив, что они не смогут заплатить, если будут выдвинуты такие условия — условия, которые удвоили бы основную сумму долга. По их словам, они не смогли бы удовлетворить даже меньшую претензию, если бы не щедрость губернатора, который отказался от обычных подарков. Брут был очень раздосадован.

"Даже когда он просит меня об одолжении, - пишет Цицерон Аттику, - в нем всегда есть что-то высокомерное и грубоватое: все равно он вызывает смех больше, чем гнев".

Когда между Цезарем и Помпеем разразилась гражданская война, ожидалось, что Брут примкнет к первому. Помпея, предавшего смерти его отца, у него не было причин любить. Но если в чем-то он был беспринципен, то в политике у него были принципы, от которых он не отказался бы, и самым сильным из них, возможно, было то, что сторона, которую одобрял Катон, была стороной правых. Помпей встретил своего нового приверженца с удивлением и восторгом, поднявшись со своего кресла, чтобы поприветствовать его. Большую часть своего времени он проводил в лагере за учебой, а накануне битвы был поглощен составлением биографии Полибия, греческого историка времен Второй Пунической войны. Он прошел через

катастрофический день при Фарсалии неведомым, поскольку Цезарь отдал специальный приказ сохранить ему жизнь. После битвы победитель не только простил его, но и отнесся к нему с величайшей добротой, за которую, по крайней мере, какое-то время, он, кажется, не был неблагодарным. Но в действии были влияния, которым он не мог сопротивляться. Это была его дружба с Кассием, который питал страстную ненависть к узурпаторам, воспоминание о том, что Катон скорее умер, чем подчинился Цезарю, и, что не в последнюю очередь, связь с его именем, забыть которое ему не позволили. Статуя старого патриота, изгнавшего Тарквиниев, была покрыта такими надписями, как "Брут, хотел бы ты быть живым!", а кресло самого Брута — в то время он был претором — было найдено покрытым бумагами, на которых было нацарапано: "Брут, ты спишь" или "Ты настоящий Брут" и тому подобное. Как он убил Цезаря, я уже рассказывал; о том, как он покончил с собой в отчаянии после второй битвы при Филиппах, можно прочитать в другом месте.

Порция, дочь Катона, овдовела в 48 году до н.э. и три года спустя вышла замуж за своего двоюродного брата Брута, который развелся со своей первой женой Клавдией, чтобы жениться на ней. Она унаследовала и литературные вкусы, и мнения своего отца, и считала себя обиженной, когда ее муж, казалось, не желал делиться с ней своими планами. Таким образом, Плутарх рассказывает ее историю, причем его авторитет, по-видимому, представляет собой небольшую биографию, которую один из ее сыновей от первого мужа впоследствии написал о своем отчине. "Она ранила себя в бедро ножом, которым цирюльники обрезают ногти. Рана была глубокой, потеря крови большой, а последовавшие за ней острая боль и лихорадка. Ее муж был в величайшем отчаянии, когда его жена обратилась к нему таким образом: "Брут, именно дочь Катона стала твоей женой не просто для того, чтобы делить с тобой постель и стол, но и для того, чтобы быть соучастницей твоих невзгод и твоего процветания. *Ты* не даешь мне повода жаловаться, но какие доказательства я могу дать тебе своей привязанности, если я не могу поделиться с тобой твоими тайными проблемами? Женщины, я знаю, слабые создания, плохо приспособленные для хранения секретов. И все же хорошая выучка и честная компания могут многое сделать, и это, как дочь Катона и жена Брута, я получила". Затем она показала ему рану и сказала, что нанесла ее себе, чтобы доказать свою храбрость и постоянство". Несмотря на всю эту решимость, в ней было что-то от женской слабости. Когда ее муж ушел из дома в день, назначенный для убийства, она не могла скрыть своего волнения. Она нетерпеливо расспрашивала всех, кто входил, о самочувствии Брута и, наконец, упала в обморок в холле своего дома. В разгар работы в здании сената Брут услышал, что его жена умирает.

Порции не было со своим мужем во время кампаний, закончившихся при Филиппах, но она оставалась в Риме. Говорят, что она покончила с собой, проглотив горящие угли из жаровни, когда ее друзья скрывали от нее все средства саморазрушения. Эта история едва ли правдоподобна; возможно, это означает, что она задохнулась углем. То, что она покончила с собой, соответствовало всем традициям ее жизни.

ГЛАВА XIII.

ГУБЕРНАТОР В СВОЕЙ ПРОВИНЦИИ.

Римский государственный деятель после занятия должности претора или консула обычно на год или более брал на себя управление одной из провинций. Эти назначения действительно были наградой профессии политика. Новый губернатор получил великолепное снаряжение из казначейства. Мы слышим, что на эти цели было выделено до ста пятидесяти тысяч фунтов

стерлингов. На этом можно было бы легко сэкономить. Действительно, мы слышим об одном губернаторе, который оставил все свое содержание в Риме под проценты. А в самой провинции могли быть получены великолепные выгоды, и действительно, обычно они получались. Даже Цицерон, который, если мы можем доверять его собственному отчету о своих действиях, был исключительно справедлив, и не только справедлив, но даже щедр в своих отношениях с провинциалами, получал, как мы видели, очень солидную прибыль в размере двадцати тысяч фунтов стерлингов за год пребывания в должности. Веррес, который, с другой стороны, был исключительно жаден, за три года заработал триста пятьдесят тысяч фунтов, не считая коллекционирования произведений искусства неисчислимой ценности. Но почести и прибыли, которых с нетерпением ожидало большинство его современников, не привлекали Цицерона. Его не заботило отсутствие в центре политической жизни, и он чувствовал себя одновременно выше и непригодным для более мелких дел провинциального правительства.

Он успешно избежал назначения после того, как стал претором, а затем снова после консульства. Но пришло время, когда это назначение было ему навязано. Помпей в свое третье консульство добился принятия закона, которым предусматривалось, что все сенаторы, занявшие должности претора или консула, должны были бросить жребий за вакантные провинции. Цицерону пришлось рискнуть вместе с остальными, и голосование отдало ему Киликию. Это было в 51 году до н.э., Цицерону шел пятьдесят шестой год.

Киликия была обширной провинцией, включавшей в себя юго-восточную часть Малой Азии вместе с островом Кипр. Положение его наместника усугублялось соседством с самыми грозными соседями Рима, парфянами, которые всего за два года до этого наголову разбили армию Красса. В провинции были расквартированы два легиона, насчитывавших двенадцать тысяч человек, не считая вспомогательных войск, и к ним было присоединено от двух до трех тысяч кавалеристов.

Цицерон приступил к исполнению своих обязанностей 1 мая в сопровождении своего брата, который, с отличием прослужив под началом Цезаря в Галлии, сложил с себя командование, чтобы действовать в качестве лейтенанта в Киликии. В Кумах он принял толпу посетителей — "маленький Рим", как он говорит. Гортензий был среди них, и это при том, что у него было очень слабое здоровье (он умер до возвращения Цицерона). - Он попросил у меня инструкций. Все остальное я оставил ему в общих чертах, но особенно умолял его не позволять, насколько это в его силах, передавать мне управление моей провинцией еще на один год ". 17 числа того же месяца он достиг Тарента, где провел три дня с Помпеем. Он нашел его "готовым защищать государство от опасностей, которых мы страшимся". Тени гражданской войны, которая должна была разразиться через год после возвращения Цицерона, уже сгущались. В Брундизиуме, порту отправления на Восток, он был задержан частично из-за недомогания, частично из-за того, что ему пришлось почти две недели ждать одного из своих чиновников. Он достиг Актиума, расположенного на северо-западе Греции, 15 июня. Он предпочел бы отправиться оттуда по суше, будучи, как он говорит нам, плохим моряком и имея в виду огибание грозного мыса Лейкат; но возникла проблема с его свитой, без которой он не мог поддерживать состояние, которое стало губернаторством *по пути* в его провинцию. Еще через одиннадцать дней он прибыл в Афины. "До сих пор, - пишет он с этого места, - ни на меня, ни на кого-либо из моей свиты не было потрачено ни государственных, ни частных денег. Я убедил всех своих людей, что они должны сделать все возможное для улучшения моего имиджа. До сих пор все шло превосходно. Это было замечено, и греки высоко оценили это ". "Афины, - пишет он снова, -

привели меня в восторг; город со всей его красотой, огромная привязанность, которую я испытываю к тебе" (как мы помним, он пишет Аттику, старожилу), "и хорошее чувство по отношению ко мне, а еще больше - к его философским занятиям". Перед отъездом он смог оказать людям услугу, вызволив из рук строителя дом Эпикура, который совет ареопага, столь же мало чувствующий древность, как и современный городской совет, обрек на гибель. Затем он продолжил свой путь, ворча на тяготы морского путешествия в июле, на жестокие ветры, на малочисленность местных судов. Он добрался до Эфеса 22 июля, не страдая от морской болезни, как он старательно уверяет нас, и застал огромное количество людей, пришедших выразить ему свое почтение. Все это было достаточно приятно, но ему особенно не терпелось поскорее вернуться в Рим. Рим действительно был для обычного римлянина — за исключением нескольких исключительных любителей этой страны, таких как Вергилий и Гораций, — тем же, чем Париж является для парижанина. "Будьте абсолютно уверены, - пишет он Аттикусу, - что я пробуду на этом посту всего год; что не будет даже добавленного месяца". Из Эфеса он отправляется, жалуясь на жаркие и пыльные дороги, в Траллес, а из Траллеса, одного из городов своей провинции, в Лаодикию, которой он достиг 31 июля, ровно через три месяца после начала путешествия[8]. Расстояние, измеренное непосредственно, может быть оценено примерно в тысячу миль.

[Примечание 8: Сорок семь дней считались очень коротким сроком для завершения путешествия.]

Похоже, он нашел провинцию в плачевном состоянии. "Я пробыл, - пишет он, - три дня в Лаодикии, еще три в Апамке и столько же в Синнасе и не слышал ничего, кроме жалоб на то, что они не могут заплатить наложенный на них подушный налог, что имущество каждого продано; слышал, повторяю, ничего, кроме жалоб, стонов и чудовищных поступков, которые, казалось, подходили не человеку, а какому-то ужасному дикому зверю. И все же некоторым облегчением для этих несчастных городов является то, что они не несут расходов ни для меня, ни для кого-либо из моих последователей. Я не получу ни фуража, который мне причитается по закону, ни даже дров. Иногда я соглашаюсь на четыре кровати и крышу над головой; часто даже на это, предпочитая жить в палатке. Следствием всего этого является невероятное скопление людей из города и деревни, жаждущих меня увидеть. Святые небеса! сам мой подход, кажется, заставляет их оживать, так что действуйте полностью, справедливость, умеренность и милосердие вашего друга превосходят все ожидания". Следует признать, что Цицерону было не привыкать восхвалять себя.

Ростовщичество было одной из главных причин этого повсеместного бедствия; а ростовщичеством, как мы видели, занимались даже римляне с хорошей репутацией. Мы видели "благородного человека", такого как Брут, взыскивающего проценты почти в пятьдесят процентов. Помпей получал, под какие проценты мы не знаем, огромную сумму в размере почти ста тысяч фунтов стерлингов в год от царя-данника Каппадокии, и это было меньше, чем он имел на это право. Другие должники этого безденежного царя ничего не могли получить; все шло в кошелёк Помпея, и вся страна была полностью лишена денег. В конце концов, однако, Цицерону все же удалось раздобыть двадцать тысяч фунтов для Брута, который также был одним из кредиторов царя. Мы не можем не задаться вопросом, если такие вещи происходили при губернаторе, который действительно изо всех сил старался быть умеренным и справедливым, то каково было положение жителей провинций при обычных правителях.

В то время как Цицерон был занят состоянием своей провинции, его внимание было отвлечено тем, что мы могли бы назвать парфянской "паникой". Говорили, что вся армия этого народа перешла Евфрат под командованием Пакора, сына царя. Губернатор Сирии еще не прибыл. Заместитель командующего заперся со всеми своими войсками в Антиохии. Цицерон двинулся в Каппадокию, которая граничила с наименее защищенной частью Киликии, и занял позицию у подножия горы Тавр. Затем пришло известие, что Антиохия осаждена. Услышав это, он свернул свой лагерь, форсированным маршем пересек Таврский хребет и занял перевалы в Сирии. Парфяне сняли осаду Антиохии и во время отступления значительно пострадали от рук Кассия.

Хотя Цицерон никогда не скрещивал мечи с парфянами, он нашел или ухитрился отличиться как солдат. Независимые пограничные горцы подверглись нападению и потерпели поражение; Цицерон был встречен своими солдатами на поле боя как "Император" и имел удовольствие занять на несколько дней позицию, которую Александр Македонский занимал перед битвой при Иссе. "И он, - говорит Цицерон, который всегда рассказывает о своих военных достижениях с чем-то вроде улыбки на лице, - был несколько лучшим полководцем, чем вы или я". Затем он обратил свое оружие против Свободных киликийцев, построив траншеи, земляные укрепления, катапульты и все обычные механизмы осады их крепости Пиндениссум. По истечении сорока семи дней город сдался. Цицерон передал награбленное в этом месте своему хозяину, оставив лошадей только для общественных целей. Значительная сумма была выручена от продажи рабов. "Кто такие эти Пинденисси? кто они?" скажете вы. "Я никогда не слышал этого имени". "Ну, что я могу сделать? Я не могу превратить Киликию в Этолию или Македонию". Кампания завершилась примерно в середине декабря, и наместник, передав армию своему брату, направился в Лаодикию. С этого места он пишет Аттику словами, которые кажутся нам самодовольными и хвастливыми, но в них все же есть доля честности. "Я уехал из Тарса в Азию (так называлась римская провинция) 5 июня, сопровождаемый таким восхищением, которое я не могу выразить словами, со стороны городов Киликии, и особенно со стороны жителей Тарса. Когда я пересек Тавр, меня охватило удивительное нетерпение увидеть меня в Азии, насколько простирались мои владения. За шесть месяцев моего правления они не получили от меня ни одной заявки, у них не было расквартировано ни одного человека. Год за годом до меня эта часть года использовалась таким образом для получения прибыли. Богатые города платили большие суммы денег, чтобы не искать зимние квартиры для солдат. Кипр заплатил на этот счет более 48 000 фунтов стерлингов; и с этого острова — я говорю это без преувеличения по трезвой правде — не было взыскано ни единой монеты, пока я был у власти. В обмен на эти блага, блага, которым они просто поражены. Я не позволю оказывать мне никаких почестей, кроме словесных. Я запрещаю статуи, храмы, бронзовые колесницы. Я ни в чем не причиняю беспокойства городам, хотя, возможно, я причиняю это вам, восхваляя таким образом себя. Потерпите меня, если вы меня любите. Это правило, которому вы хотели бы, чтобы я следовал. Мое путешествие по Азии имело такие результаты, что даже голод — а более прискорбного бедствия, чем голод, нет, — который тогда царил в стране (урожая не было), был событием, которого я желал; ибо куда бы я ни направлялся, без применения силы, без помощи закона, без упреков, но своим простым влиянием и увещеваниями я убеждал греков и римских граждан, которые прятали зерно, обязаться доставить большое количество различным племенам". Он снова пишет: "Я вижу, что вы довольны моей сдержанностью. Вам было бы гораздо приятнее, если бы вы были здесь. На сессиях, которые я проводил в Лаодикии для всех моих округов, за исключением Киликии, с 15 февраля по 1 мая, я проделал поистине изумительную работу. Многие города были полностью освобождены от своих долгов, многие получили огромное

облегчение, и все они наслаждались своими собственными законами и судами, и таким образом, получив самоуправление, получили новую жизнь. Было два способа, с помощью которых я давал им возможность либо избавиться от бремени долга, либо значительно облегчить его. Во-первых, при моем правлении они не подвергались никаким расходам — я не преувеличиваю; я положительно говорю, что им не пришлось потратить ни фартинга. С другой стороны, города были зверски ограблены их собственными греческими магистратами. Я лично допросил людей, которые занимали эти должности в течение последних десяти лет. Они сознались и, не подвергаясь публичному позору, возместили ущерб. В других отношениях мое правительство, не испытывая недостатка в обращении, отличается милосердием и вежливостью. Нет никаких трудностей, столь обычных в провинциях, с обращением ко мне; никакого представления со стороны камергера. Перед рассветом я пешком возвращаюсь в свой дом, как бывало в старые добрые времена, когда я был кандидатом в президенты. Это важное дело здесь и популярное, и для меня, исходя из моей старой практики в этом, пока не доставляло хлопот".

У него были и другие, менее серьезные заботы. Некто Целий, который был достаточно любезен, чтобы держать его в курсе происходящего в Риме, и который, как мы видим, наполняет свои письма забавной смесью политики, скандалов и сплетен, обращается со скромной просьбой о нескольких пантерах, которых правителю столь дикой страны, несомненно, не составило бы труда раздобыть для него. Он был кандидатом на должность эдила и хотел заполучить зверей для представления, которое ему предстояло выставить. Цицерон не должен забывать позаботиться о них, как только услышит о выборах. "Почти во всех своих письмах я писал тебе о пантерах. Для тебя будет позором, что Патискус послал Куриону десять пантер, а тебе - немногим больше. Эти десять сувениров подарил мне и еще десять других из Африки. Если ты только не забудешь послать за охотниками из Кибиры, а также отправишь письма в Памфилию (ибо там, как я понимаю, похищают больше, чем где-либо еще), у тебя все получится. Я умоляю вас позаботиться об этом деле. Вам нужно только отдать приказ. Я выделил людей для содержания и транспортировки животных, когда они будут взяты". Губернатор и слышать не хотел о том, чтобы возложить ответственность за поимку пантер на охотников провинции. И все же он сделает все возможное, чтобы угодить своему другу. "Вопросом о пантерах усердно занимаются люди, привыкшие охотиться на них; но их на удивление мало, и те немногие, что есть, горько жалуются, говоря, что это единственные существа в моей провинции, которые подвергаются преследованиям".

Из Лаодикии Цицерон вернулся в Тарс, столицу своей провинции, привел в порядок дела своего правительства, назначил исполняющего обязанности губернатора и в начале августа отправился домой. По пути он нанес визит на Родос, желая показать своему сыну и племяннику (они сопровождали его в его правительство) знаменитую школу красноречия, в которой он сам учился. Здесь он с большим сожалением узнал о смерти Гортензия. Он видел сына великого оратора в Лаодикии, где тот развлекался в пользующейся дурной репутацией компании каких-то гладиаторов, и, по его словам, пригласил его на обед ради своего отца. Его пребывание на Родосе, вероятно, было довольно продолжительным, поскольку он прибыл в Эфес только первого октября. Утомительный четырнадцатидневный переход привел его в Афины. По пути на запад Тиро, его доверенный слуга, заболел, и его пришлось оставить в Патрах. Тирон был рабом, хотя впоследствии и освобожденным своим хозяином; но он был человеком великих и разнообразных достижений, и Цицерон пишет ему так, как мог бы писать самому дорогому из своих друзей. Нет ничего более странного во всем, что мы знаем о "Римской жизни", чем

присутствие в ней таких людей, как Тирон. И мы могли бы даже рискнуть сказать, что нигде во всей мировой истории нет ничего подобного. Время от времени, в те времена, когда рабство все еще существовало в Южных штатах Америки, можно было встретить рабов-мулатов и квадрунов, которые по внешнему виду и достижениям почти не отличались от своих владельцев. Но в мужчинах и женщинах, находившихся в таком положении, всегда была примесь негритянской крови, или то, что считалось таковой. В Риме, должно быть, было обычным делом видеть людей, возможно, более высокого происхождения (поскольку греческое происхождение могло даже считаться лучшим, чем римское), и, вероятно, более образованных, чем их хозяева, у которых не было абсолютно никаких прав как у человеческих существ, и их можно было пытаться или убивать в зависимости от жестокости или каприза. Для Тирона, человека культурного и острого интеллекта, какой бы он ни был, мысль о рабстве, даже у такого доброго и любящего хозяина, как Цицерон, должна была вызывать невыразимую горечь. Страшно подумать, каковы должны были быть чувства такого человека, когда он был собственностью Верреса, Клодия или Катилины. Приятно отвлечься от мысли, которая, возможно, является самой мрачной в отталкивающей теме римского рабства, и понаблюдать за сочувствием и нежностью, которые Цицерон проявляет к больному человеку, с которым он был вынужден неохотно расстаться. Письма к Тиро заполняют одну из шестнадцати книг "Писем друзьям". Их двадцать семь, или, скорее, двадцать шесть, поскольку шестнадцатая часть серии содержит поздравления и благодарности, которые Квинт Цицерон адресует своему брату при получении известия о том, что Тирон получил свободу. "Что касается Тирона, - пишет он, - я протестую, поскольку хочу видеть тебя, мой дорогой Марк, и моего собственного сына, и твоего, и мою дорогую Туллию, что ты сделал вещь, которая мне чрезвычайно понравилась, сделав человека, который, безусловно, был намного выше своего низкого положения, другом, а не слугой. Поверьте мне, когда я читал ваши и его письма, я прямо подпрыгивал от радости; я одновременно благодарю и поздравляю вас. Если верность моего Статуса доставляет мне столько удовольствия [9], насколько ценным в Тироне должно быть то же самое хорошее качество с дополнительными и даже превосходящими преимуществами культуры, остроумия и вежливости? У меня есть много очень веских причин любить вас; и вот что вы мне сообщили, как, собственно, и должны были сообщить, эту превосходную новость. Я прочел в вашем письме все ваше сердце".

[Сноска 9: см. стр. 277.]

Письма Цицерона к больному поначалу очень часты. Одно датировано третьим, другое пятым и третье седьмым ноября; а восьмого числа того же месяца их не менее трех, первое из них, по-видимому, является ответом на письмо от Тиро. "Ваше письмо произвело на меня разное впечатление — сильно встревожило меня на первой странице, немного утешило на второй. В результате я сейчас говорю без колебаний: пока ты не окрепнешь, не отправляйся путешествовать ни по суше, ни по морю. Я увижу тебя, как только пожелаю, если увижу, что ты полностью восстановился". Далее он критикует рецепты врача. Суп не следовало давать больному с диспепсией. Тиро не жалеет никаких средств. Еще один гонорар врачу мог бы сделать его более внимательным. В другом письме он сожалеет о том, что инвалид счел себя вынужденным принять приглашение на концерт, и сообщает ему, что оставил для него лошадь и мула в Брундизии. Затем, после краткого сообщения о государственных делах, он возвращается к вопросу о путешествии. "Я должен еще раз попросить вас не торопиться с путешествием. Моряки, как я заметил, слишком торопятся увеличить свои прибыли. Будь осторожен, мой дорогой Тирон. Тебе предстоит пересечь широкое и опасное море. Если сможешь, отправляйся с Мескинием. Он привык быть осторожным в своих путешествиях. Если

не с ним, приходите с выдающимся человеком, который будет иметь влияние на капитана." В другом письме он сообщает Тиро, что тот должен возродить свою любовь к литературе и учености. Врач подумал, что у него не в порядке с головой; лучшим лекарством от этого было занятие. В другом письме он пишет: "Я получил ваше письмо, написанное дрожащим почерком; в самом деле, неудивительно, учитывая, насколько серьезной была ваша болезнь. Я посылаю тебе Египту (вероятно, превосходную рабыню) прислуживать тебе и повара при нем". Цицерон не мог бы проявить более нежной заботы о больном сыне.

Говорят, что Тиро написал жизнеописание своего учителя. И мы, безусловно, обязаны его заботе о сохранении его переписки. Его слабое здоровье не помешало ему дожить до ста трех лет.

Цицерон медленно возвращался домой и только 25 ноября добрался до Италии. Его разум был занят двумя тревогами — опасностью гражданской войны, которая, как он чувствовал, с каждым днем становилась все более надвигающейся, и страстным желанием, чтобы его военные успехи над киликийскими горами были вознаграждены отличием в виде триумфа. За него уже проголосовали в пользу публичного благодарения; Катон, который принципиально выступал против этого, нанес ему оскорбление таким поступком. Добиться триумфа было не так-то просто, и действительно, кажется, что то, что Цицерон стремился добиться его за подвиги столь умеренного рода, свидетельствует об определенной слабости Цицерона. Однако он приземлился в Брундизиуме в качестве официального претендента на эту честь. Его ликторы имели свои фации (пучки прутьев, в которые был вложен топор), увитые лавровыми листьями, как это было принято у победоносного полководца, который надеялся получить это отличие. Помпей, с которым у него была долгая беседа, вселил в него надежду и пообещал свою поддержку. Он добрался до столицы только 4 января. Положение дел становилось все мрачнее и мрачнее, но он все еще цеплялся за надежду на триумф и не прогонял своих ликторов с их наградами, хотя их общество ему порядком надоело. Дело зашло так далеко, что в сенате даже было внесено предложение о присуждении триумфа; но дело было отложено по предложению одного из консулов, озабоченного, как думает Цицерон, тем, чтобы его собственные заслуги были более оценены, когда придет время. К концу января он, похоже, оставил свои надежды. Еще через несколько дней он был фактически вовлечен в волну гражданской войны.

ГЛАВА XIV.

АТТИКУС.

Имя Аттика неоднократно упоминалось в предыдущих главах как корреспондента Цицерона. У нас действительно есть более пятисот писем, адресованных ему, за период почти в двадцать пять лет. Часты промежутки молчания — например, ни одно письмо не относится к году консульства, причина в том, что оба корреспондента находились в Риме. Иногда, особенно в более поздние годы, они очень близко следуют друг за другом. Последнее было написано примерно за год до смерти Цицерона.

Аттикус был одним из тех редких персонажей, которые умудряются жить в мире со всеми людьми. Времена были безмерно беспокойными; у него было богатство и положение; он поддерживал тесную дружбу с людьми, которые были в самой гуще борьбы; он всегда был готов проявить сочувствие и помочь побежденным; и все же он ухитрился не вызвать вражды; и после

пожизненного мира, прерванного лишь одной или двумя временными тревогами, умер в глубокой старости.

Аттикус происходил из, так сказать, джентльменской семьи и по наследству принадлежал к демократической партии. Но он рано решил держаться в стороне от политики и избрал эффективное средство для достижения своей цели, поселившись в Афинах. Со свойственной ему осмотрительностью он перевел большую часть своего имущества в инвестиции в Греции. В Афинах он стал чрезвычайно популярен. Он ссужал муниципалитету деньги по льготным ставкам и щедро раздавал зерно, раздавая по полтора бушеля каждому нуждающемуся гражданину. Он говорил по-гречески и по-латыни с одинаковой легкостью и красноречием и, как нам говорили, обладал непревзойденным даром декламировать стихи. Сулла, который, несмотря на всю свою дикость, обладал утонченным вкусом, был очарован этим молодым человеком и хотел взять его в свою свиту. "Умоляю тебя, - ответил Атик, - не отправляй меня сражаться против тех, в чьей компании, если бы я не покинул Италию, я мог бы сражаться против тебя". Пробыв там двадцать три года, он вернулся в Рим, в тот самый год, когда Цицерон был консулом. В Риме он держался так же отчужденно от суматохи гражданской войны, как и в Афинах. Он упорно отказывался от любых должностей; у него не было никаких обязательств ни перед кем, и поэтому никто не считал его неблагодарным. Сторонники Цезаря и Помпея были довольны тем, что получали помощь из его кошелька и видели его решительно нейтральным. Он отказался участвовать в проекте представления того, что мы могли бы назвать свидетельством убийцам Цезаря от имени рыцарского ордена; но он без колебаний удовлетворил потребности наиболее заметных из них подарком в размере от трех до четырех тысяч фунтов стерлингов. Когда Антоний был объявлен вне закона, он защитил свою семью; а Антоний в ответ сохранил свою жизнь и имущество среди ужасов второго Проскрипции.

Его биографу Корнелиусу Непоту есть что сказать о его умеренности и умеренном образе жизни. У него не было роскошного загородного дома в пригороде или на морском побережье, но было два фермерских дома. Однако ему принадлежал, по-видимому, очень красивый дом (возможно, нам следует назвать его "замком", поскольку Цицерон говорит о нем как о месте, способном к обороне) в Эпире. В нем, среди прочего, находилась галерея статуй. Любовь к литературе была одной из главных черт его характера. Его гостей развлекали не выступлениями наемных певцов, а чтением произведений известных авторов. Он собрал, действительно, очень большую библиотеку. Все его рабы, вплоть до самых ничтожных, были хорошо образованы, и он нанимал их делать копии.

Атик женился несколько поздно. Его единственная дочь была первой женой Агриппы, министра Августа, а его внучка была замужем за Тиберием. Обе эти дамы были разведены, чтобы освободить место для супруги более высокого ранга, которой, как ни странно, в обоих случаях была Юлия, печально известная дочь Августа. Обе, как мы вполне можем полагать, были опечалены своими мужьями.

Аттикус умер в возрасте семидесяти семи лет. Он был поражен болезнью, которую считал неизлечимой, и сокращал свои дни добровольным голоданием.

Таким образом, именно этому корреспонденту Цицерон на протяжении примерно четверти века доверял свои заботы и желания. Эти двое были школьными товарищами и, вероятно, возобновили свое знакомство, когда Цицерон посетил Грецию в поисках здоровья. Впоследствии между ними установилась семейная связь, сестра Атика Помпония вышла замуж

за младшего брата Цицерона, Квинта, что, как мы понимаем из писем, не принесло счастья ни одному из них. У Цицерона не могло быть лучшего наперсника. Он был полон сочувствия и готов прийти на помощь; и в то же время он был необычайно проницателен и осмотрителен, превосходным деловым человеком и, благодаря восхитительному хладнокровию, которое позволяло ему оставаться вне политической суматохи, столь же превосходным советчиком в политике.

Одной из частых тем писем Цицерона своему другу являются деньги. Возможно, я мог бы выразить связь между ними, сказав, что Аттик был банкиром Цицерона, хотя эту фразу не следует понимать слишком буквально. Обычно он не получал и не выплачивал деньги за счет Цицерона, но делал это время от времени; и у него была постоянная привычка делать авансы, хотя, вероятно, и без процентов, когда этого требовали временные затруднения, нередкие, как мы можем понять из писем. Сам Аттик был богатым человеком. Как и его современники в целом, он получал доход от ссуд и, возможно, поскольку суть не совсем ясна, от сдачи гладиаторов в наем. Его биограф случайно сообщает нам точную цифру его имущества. В его словах на самом деле прямо не указано, означает ли сумма, которую он упоминает, капитал или доход. Я склонен думать, что последнее. Если это так, то в молодости его доход составлял что-то меньше восемнадцати тысяч фунтов, а впоследствии - почти девяносто тысяч фунтов.

Я могу воспользоваться случаем, чтобы сказать кое-что о собственности Цицерона, что по своему является довольно запутанным вопросом. В случае с известным адвокатом среди нас не было бы никаких трудностей в понимании того, что он должен был приобрести большое состояние. Но римский закон строго запрещал адвокату получать какую-либо плату от своих клиентов. Практика старых времен, когда знатный человек ходатайствовал о сохранении жизни или имущества более скромных подсудимых и получал в награду их привязанность и поддержку, все еще существовала в теории. Это действительно существует по сей день и объясняет тот факт, что у нас у барристеров нет *законных* средств для взыскания своих гонораров. Но практика оплаты услуг адвокатов начала набирать обороты. Некоторые современники Цицерона, несомненно, получали большое вознаграждение за свои услуги. Сам Цицерон всегда утверждал, что держал руки чистыми в этом отношении, и поскольку его враги никогда не выдвигали против него никаких обвинений подобного рода, с его заявлением вполне можно согласиться. Значит, нам нужно искать другие источники дохода. Его наследство было значительным. Оно включало, как мы видели, поместье в Арпинуме и дом в Риме. И потом, у него было многочисленное наследство. Это источник дохода, который почти непривычен для наших современных способов действия и мышления. У нас редко случается, чтобы состоятельный человек оставлял что-либо вне круга своей семьи. Иногда близкий друг получает наследство. Но случаи, когда деньги завещались государственному деятелю в знак признания его заслуг или литератору в знак признания его выдающегося положения, чрезвычайно редки. В Риме они были очень распространены. Цицерон заявляет, приводя это в доказательство того, как его ценили сограждане, что он получил в наследство двести тысяч фунтов стерлингов. Это было в последний год его жизни. Это в какой-то мере помогает нам выйти из нашего затруднительного положения. Только мы должны помнить, что едва ли признание его заслуг перед государством и его друзьями могло начаться несколько позже в его карьере. Он заработал около двадцати тысяч фунтов за год управления своей провинцией, но, вероятно, эти деньги были потеряны. Затем он снова был избран в Коллегию авгуров (это было на его пятьдесят четвертом году жизни). Эти религиозные колледжи были очень богатыми. Их банкеты вошли в поговорку из-за их великолепия. Получали ли отдельные участники какую-либо выгоду

от своих доходов, мы не знаем. Мы часто видим, как он жалуется на долги; но он всегда говорит о них как о временном неудобстве, а не как о постоянном бремени. Его это не угнетает; у него всегда хватает духу посмеяться над этим. Когда он покупает свой большой городской особняк на Палатинском холме (он принадлежал богатому Крассу) за тридцать тысяч фунтов, он говорит: "Теперь я должен так много, что был бы рад вступить в заговор, если бы кто-нибудь принял меня в сообщники". Но это не то, как стал бы говорить человек, который не видел выхода из своих трудностей.

Частая тема - домашние дела. Он рассказывает о здоровье своей жены, он объявляет о рождении своих детей. Спустя годы он сообщает о помолвке своей дочери и о том, когда она выходит замуж, а также рассказывает о делах и перспективах своего сына. Ему также есть что рассказать о семье своего брата, которая, как я уже говорил, была не очень счастливой. Вот сцена их семейной жизни. "Когда я добрался до Арпинума, ко мне пришел мой брат. Сначала мы много говорили о тебе; потом мы перешли к предмету, который мы с тобой обсуждали в Тускулуме. Я никогда не видел никого более мягкого, доброго, чем мой брат, когда говорил о твоей сестре. Если и были какие-то основания для их разногласий, то не на что было обращать внимание. Вот и все для того дня. На следующее утро мы отправились в Арпинум. Квинту пришлось остаться в Ретрите; я собирался остаться в Аквинуме. Тем не менее, мы пообедали в Ретрите (вы знаете это место). Когда мы прибыли, Квинт сказал самым вежливым образом: "Помпония, пригласи дам войти; я позову слуг", — ничего не могло быть сказано более любезно, по крайней мере, мне так показалось, не только в том, что касалось слов, но и в тоне и взгляде. Однако она ответила раньше всех нас: "Я сама здесь чужая". Это, как мне кажется, произошло потому, что Статий ушел заранее, чтобы посмотреть, что будет после обеда. "Видишь, - сказал Квинт, - это то, с чем мне приходится мириться каждый день". Возможно, ты скажешь: "Что в этом было?" Это было действительно серьезно, настолько серьезно, что сильно встревожило меня, так беспричинно, так сердито она говорила и смотрела. Я не подал виду, но был сильно раздосадован. Мы все сели за стол, все, кроме нее. Однако Квинтус прислал ей кое-что со стола. Она отказалась, чтобы не раздувать из этого долгую историю, никто не мог быть более нежным, чем мой брат, и никто более несносным, чем твоя сестра — по крайней мере, на мой взгляд, и я пропускаю мимо ушей многие другие вещи, которые оскорбляли меня больше, чем Квинта. Я отправился в Аквинум". (Поведение женщины было тем более достойным порицания, что ее муж направлялся в отдаленную провинцию.) "Квинт остался в Убежище. На следующий день он присоединился ко мне в Арпинуме. Ваша сестра, сказал он мне, не хотела иметь с ним ничего общего и до момента своего отъезда пребывала точно в том же настроении, в каком я ее видел".

Другой образец писем, затрагивающих более приятную тему, может заинтересовать моих читателей. Это сердечное приглашение.

"К моей радости, Цинций (он был агентом Аттика) пришел ко мне 30 января между рассветом с известием, что ты в Италии. Он посылал, по его словам, к вам гонцов, мне не хотелось, чтобы они уехали без письма от меня, не то чтобы мне было что написать вам, особенно когда вы были так близко, но я хотел, чтобы вы поняли, с каким восторгом я ожидаю вашего приезда ... В день приезда приходите ко мне со всей вашей компанией. Вы увидите, что Тираннию (греческий литератор) "замечательно расставил мои книги. То, что от них осталось, гораздо более удовлетворительно, чем я думал [10]. Я был бы рад, если бы вы прислали мне двух ваших библиотечных клерков, чтобы Туллий нанял их в качестве переплетчиков и вообще помощников;

отдайте также некоторые распоряжения взять немного пергамента для индексов. Однако все это, если вам удобно. В любом случае, приезжайте сами и возьмите с собой Пилию [11]. Это, конечно, правильно. Туллия тоже этого хочет.

[Сноска 10: Они пострадали вместе с остальным имуществом Цицерона во время его изгнания.]

[Сноска 11: Пилия была дамой, с которой был помолвлен Аттик]

ГЛАВА XV.

АНТОНИЙ И АВГУСТ.

В некоторых вещах Марк Антоний походил на Цезаря. В то время казалось вероятным, что он сыграет ту же роль и даже достигнет той же высоты власти. В конце концов, он потерпел неудачу, потому что хотел обладать властью управлять другими и, еще больше, контролировать себя. Он происходил из хорошей семьи. Его дед был одним из величайших ораторов своего времени, его отец был добрым, щедрым человеком, его мать была родственницей Цезаря, матроной лучшего римского типа. Но он, казалось, вряд ли делал честь своим вещам. Его разгульная жизнь стала заметной даже в городе, где экстравагантность и порок были слишком распространены, а его долги, хотя и не такие огромные, как у Цезаря, были, по словам Плутарха, больше, чем приличествовало его молодости, поскольку они составили около пятидесяти тысяч фунтов стерлингов. Военная служба на Востоке отвлекла его от этих забав, и он быстро приобрел значительную репутацию солдата. Вот картина, которую рисует о нем Плутарх: в его внешности было что-то благородное и исполненное достоинства. Его красивая борода, широкий лоб, орлиный нос придавали ему мужественный вид, напоминавший знакомые статуи и изображения Геркулеса. Действительно, существовала легенда, что Антонию произошли от сына Геркулеса, и он стремился подтвердить это своей внешностью и одеждой. Всякий раз, когда он появлялся на публике, его туника была задрана до бедер, на боку висел огромный меч, а на голове красовался грубый плащ из киликийской шерсти. Привычки, которые другим казались вульгарными — его хвастовство, грубый юмор, запои, то, как он ел на публике, вставая из—за солдатских столов, — оказали удивительное влияние, сделав его популярным среди солдат. Его щедрость, помощь, которую он щедрой рукой оказывал товарищам и друзьям, облегчила ему путь к власти. Однажды он распорядился преподнести другу подарок в размере трех тысяч фунтов стерлингов. Его управляющий, ошеломленный величиной суммы, решил донести ее до сознания своего хозяина, положив настоящую монету на стол. "Что это?" — спросил Энтони, случайно проходя мимо. "Деньги, которые вы велели мне отдать", — был ответ мужчины. "Ну, я думал, что это будет в десять раз больше, чем это. Это всего лишь мелочь. Добавьте к этому еще столько же".

Когда разразилась гражданская война, Антоний присоединился к партии Цезаря, который, зная о его популярности в войсках, сделал его своим заместителем по командованию. Он сослужил хорошую службу в Фарсалии и, пока его начальник отправлялся в Египет, вернулся в Рим в качестве его представителя. Впоследствии между ними возникли разногласия; Цезарь был оскорблен открытым скандалом о манерах Антония и счел его беспокойным приверженцем; Антоний считал себя недостаточно вознагражденным за свои услуги, особенно когда его призвали заплатить за конфискованное имущество Помпея, которое он купил. Их тесный союз, однако, был возобновлен перед смертью Цезаря. Это событие сделало его первым человеком в Риме. Главный инструмент его власти был странным; сенат, видя, что народ Рима надевает

перчатки и восхищается покойным человеком, принял постановление, согласно которому все пожелания, оставленные Цезарем в письменном виде— должны иметь силу закона, и Антоний получил на хранение свои бумаги. Людismeялись и называли документы "Письмами со Стикса". Было серьезное подозрение, что многие из них подделаны. Но какое-то время они были очень мощным механизмом для достижения его цели.

Затем последовала проверка. Племянник и наследник Цезаря Октавий прибыл в Рим. Родившемуся в год консульства Цицерона, ему было немногим больше девятнадцати; но в благоразумии, государственном мастерстве и знании мира он был вполне зрелым человеком. На двенадцатом году жизни он произнес надгробную речь по своей бабушке Джулии. После того как он отличился в качестве солдата в Испании, он вернулся по приказу своего дяди в Аполлонию, город на восточном побережье Адриатики, где изучал литературу и философию у учителей-греков. Здесь он получил титул "Мастер конницы" - честь, которая поставила его в один ряд с самим диктатором. Он приехал в Рим с целью, как он заявил, заявить права на свое наследство и отомстить за смерть своего дяди. Но он знал, как выдержать свое время. Он поддерживал отношения с Антонием, который узурпировал его положение и присвоил его наследство, и был дружен если не с настоящими убийцами Цезаря, то уж точно с Цицероном, который не скрывал, что одобрил их поступок.

Ибо Цицерон теперь тоже вернулся к общественной жизни. В течение некоторого времени, как до смерти Цезаря, так и после нее, он посвятил себя литературе.[12] Теперь ему показалось, что есть шанс еще что-то сделать для республики, и он вернулся в Рим, куда прибыл в последний день августа. На следующий день состоялось заседание Сената, на котором Антоний должен был предложить Цезарю определенные почести. Цицерон, утомленный или делающий вид, что утомлен путешествием, отсутствовал, и Антоний яростно напал на него, пригрозив прислать рабочих, чтобы выкопать его из дома.

[Примечание 12: К 46-44 годам относятся почти все его трактаты по риторике и философии.]

На следующий день Цицерон был на его месте, поскольку Антоний отсутствовал, и с достоинством защитил свое поведение, а также довольно сурово раскритиковал действия своего противника. И все же до сих пор между этими двумя мужчинами не было непримиримого разрыва. "Измените свой курс, - говорит оратор, - я умоляю вас: подумайте о тех, кто ушел раньше, и так направьте курс Содружества, чтобы ваши соотечественники могли радоваться тому, что вы родились. Без этого ни один человек не может быть счастливым или знаменитым". Он все еще верил, или делал вид, что верит, что Антоний способен на патриотизм. Если у него и были какие-то надежды на мир, им вскоре суждено было рухнуть. После двух недель или больше, проведенных в подготовке, с помощью, как нам говорят, профессионального учителя красноречия, Антоний явился в Сенат и произнес яростную брань в адрес Цицерона. Объект его нападения снова отсутствовал. Он хотел присутствовать на заседании, но друзья воспрепятствовали ему, опасаясь, и не без оснований, реального насилия со стороны вооруженных слуг, которых Антоний привык приводить в здание сената.

Ответ на эту атаку был дан в знаменитой речи, которая называется второй Филиппикой[13]. Если бы я мог расшифровать эту речь (чего я не могу сделать по другим причинам, помимо ее длины), это дало бы нам странную картину "Римской жизни". Почти невероятно, что такой бесстыдный и подлый человек обладал величайшей властью в государстве, все еще номинально свободном. Я приведу одну выдержку из этого. Цицерон говорил о покупке Антонием конфискованного

имущества Помпея. "Он был вне себя от радости, как персонаж фарса; сегодня нищий, а на следующий день миллионер. Но, как сказал один писатель, "Добыто нечестным путем, плохо содержится". В это невозможно поверить, это абсолютное чудо, как он растратил это огромное состояние — за несколько месяцев, я правильно говорю? — нет, за несколько дней. Там был большой винный погреб, огромное количество превосходной посуды, дорогие продукты, множество элегантной и даже великолепной мебели, как и следовало ожидать от человека богатого, но не роскошествующего. И от всего этого в течение нескольких дней ничего не осталось. Была ли когда-нибудь такая всепожирающая харибда? Харибда, правильно я говорю? нет, если такое когда—либо и существовало, то это было всего лишь одно животное. Святые небеса! Я с трудом могу поверить, что целый океан мог так быстро поглотить столь многочисленные, столь разбросанные вещи, лежащие в таких отдаленных местах. Ничего не было заперто, ничего опечатано, ничего занесено в каталог. Целые кладовые были отданы в дар самым мерзким созданиям. Актеры и актрисы бурлеска были заняты каждой своей добычей. Особняк был полон игроков в кости и пьяниц. Там пили с утра до ночи, и это во многих местах. Его проигрыши в кости (потому что даже ему не всегда везло) продолжали расти. В комнатах рабов вы могли увидеть на кроватях пурпурные покрывала, принадлежавшие великому Помпею. Неудивительно, что все это богатство было израсходовано так быстро. Безрассудные люди, столь покинутые, вполне могли быстро поглотить не только достояние одного гражданина, каким бы обширным оно ни было, но и целые города и королевства".

[Примечание 13: Речи против Антония — их четырнадцать — называются "Филиппиками", название, перенесенное к ним из великих речей, в которых Демосфен атаковал Филиппа Македонского. Это имя, по-видимому, было широко распространено во времена Ювенала (около 110 г. н.э.)]

Речь так и не была произнесена, но была распространена в письменном виде. Ближе к концу 44 года Антоний, обнаруживший, что армия бросила его ради молодого Октавия, покинул Рим и поспешил в северную Италию, чтобы напасть на Децима Брута. Брут был недостаточно силен, чтобы отважиться на битву с ним, и заперся в Мутине. Цицерон продолжал играть ведущую роль в делах Рима, произнеся третью и четвертую филиппики в декабре 44 года и десять других в течение пяти месяцев следующего года. Четырнадцатое было произнесено в Сенате, когда судьба падающей республики, по-видимому, восстановилась. При Мутине произошла великая битва, в которой Антоний потерпел полное поражение; и Цицерон выразил благодарность командирам и войскам и почести тем, кто пал.

Радость, с которой было воспринято это известие, была очень краткой. Из трех генералов, названных в благодарственном голосовании, двое, которые были верны республике, были мертвы; третий, молодой Октавий, нашел возможность, которой так долго ждал, предать ее. Солдаты были готовы выполнить его приказ, и он решил с их помощью завладеть властью, которую оставил ему дядя. Антоний бежал через Альпы и был принят Лепидом, командовавшим большой армией в этой провинции, Лепид решил сыграть ту роль, которую Красс сыграл шестнадцать лет назад. Он добился примирения между Октавием и Антонием, подобно тому как Красс примирил Помпея и Цезаря, и сам был принят в качестве третьего участника их союза. Так был образован Второй триумвират.

Три вождя, согласившиеся разделить римский мир между собой, встретились на маленьком острове недалеко от Бононии (современная Бононья) и обсудили свои планы. Три дня было

отведено на их консультации, главной темой которых был список врагов, государственных и частных, которые подлежали уничтожению. У каждого был свой список; и в списке Антония первым значилось имя Цицерона. Лепид согласился, поскольку он был готов согласиться со всеми требованиями своих более решительных коллег; но молодой Октавий, как говорят, долго сопротивлялся и уступил только в последний день. Был составлен список из двух-трех тысяч имен сенаторов и всадников. Семнадцать человек были выбраны для немедленной казни, и среди этих семнадцати был Цицерон. Он жил в своем доме в Тускуле со своим братом Квинтом, когда до него дошла эта новость. Его первым побуждением было отправиться на морское побережье. Если бы ему удалось добраться до Македонии, где у Брута была мощная армия, он был бы, по крайней мере, на какое-то время, в безопасности. Братья двинулись в путь. Но у Квинта почти ничего не было с собой, и он был вынужден вернуться домой за деньгами. Цицерон, который сам был плохо обеспечен, продолжил свое путешествие в одиночку. Достигнув побережья, он сел на корабль. Когда дело дошло до отъезда из Италии, решимость изменила ему. Он всегда испытывал сильнейшее отвращение к лагерной жизни. У него был отвратительный опыт этого, когда Помпей боролся с Цезарем за господство. Он подумал, что скорее умрет, чем снова попытается это сделать. Он высадился на берег и проехал двенадцать миль по направлению к Риму. Некоторые впоследствии говорили, что он все еще лелеял надежду на защиту Антония; другие говорили, что его целью было пробраться в дом Октавия и покончить с собой у его очага, проклиная его при последнем издыхании, но его удерживал страх быть схваченным и подвергнутым пыткам. Как бы то ни было, он повернул назад и позволил своим рабам отвезти его в Капую. План укрытия у Брута, вероятно, был подсказан ему его товарищами, которые чувствовали, что это давало им единственный шанс на спасение. Он снова сел на корабль и снова высадился. Плутарх рассказывает странную историю о стае воронов, которые устроились на реях его корабля, пока он был на борту, и на окнах виллы, в которой он провел ночь. Одна птица, по его словам, залетела на его ложе и клюнула плащ, в который он был завернут. Его рабы корили себя за то, что позволили хозяину, которому сами животные стремились помочь, погибнуть у них на глазах. Почти силой они посадили его в носилки и понесли к побережью. Солдаты Антония добрались до виллы, командиром которой был старый клиент, которого Цицерон успешно защищал по обвинению в убийстве. Они обнаружили, что двери заперты, и взломали их. Заключенные отрицали, что что-либо знали о передвижениях своего хозяина, пока молодой грек, один из вольноотпущенников его брата, которого Цицерон с удовольствием обучал, не показал офицеру носилки, которые несли через кустарник виллы к морю. Взяв с собой нескольких своих людей, он поспешил за ними. Цицерон, услышав их шаги, приказал носильщикам поставить носилки на землю. Он выглянул и, по привычке поглаживая подбородок левой рукой, пристально посмотрел на убийц. Лицо его было бледным и измученным. Офицер ударил его мечом по шее, и несколько грубых солдат отвернулись, пока дело было сделано. Голова и руки были отрублены по приказу Антония и прибиты гвоздями на Форуме.

Много лет спустя император Август (Октавий из этой главы), неожиданно наткнувшись на одного из своих внуков, увидел, как юноша пытается спрятать в своей мантии том, который он читал. Он взял его и обнаружил, что это один из трактатов Цицерона. Он вернул его со словами, которые я хотел бы здесь повторить: "Он был хорошим человеком и любил свою страну".

КОНЕЦ.